УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
ГОРЬКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
1962 г. СЕРИЯ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ Выпуск 57

Академик М. П. АЛЕКСЕЕВ.

«ПАМЯТНИК» ПУШКИНА ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ ПОСЛЕДНЕГО ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЯ

Критические заметки.*

1

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный»... Нет необходимости напоминать все двадцать строк этого знаменитого стихотворения: их помнит каждый. С особой торжественностью и патетической интонацией звучат они всякий раз, когда при случае очередной пушкинской памятной даты мы думаем и говорим о поэте, о величии его исторического дела; их повторяют тогда всюду, снова и снова, полностью и в отрывках, в подлинных цитатах, в перифразах и различных применениях.

Написанное в 1836 году, но увидевшее свет только через четыре года после смерти поэта, — в 1841 году, — это стихотворение давно уже считается одним из наиболее значительных в его творческом наследии. Пророческий смысл его предречений, его программное значение признавали критики всех лагерей и направлений, подходившие к оценке творчества Пушкина с различных и даже противоположных позиций. Ближайшие современники поэта знали его мало и в поврежденном виде; однако, им восхищался Белинский, определивший его как «апофеозу гордого, благородного самосознания гения». В нынешнем веке стихотворению давали не менее ответственные определения, внушенные уже не безотчетным ощущением ее поэтической силы, но опытом его долголетних изучений; его называли «последним заветом Пушкина» (С. А. Венгеров), «итогом поэтической деятельности, подведенным Пушкиным в предчувствии неизбежно близкого конца» (М. Л. Гофман), «углубленной оценкой творческой жизни»

* Эта статья в сокращенном виде была прочтена в качестве доклада на сессии Отделения литературы и языка Академии наук СССР, состоявшейся в Ленинграде 12 февраля 1962 г. по случаю 125-летней годовщины со дня гибели Пушкина. См. Известия АН СССР, Отд. лит. и языка, 1962, т. XXI, вып. 3, стр. 282—283.

(П. Н. Сакулин), произведением, осмысляющим весь собственный путь, все творческое дело поэта» (Д. П. Якубович), «поэтическим манифестом» (В. Н. Орлов), «поэтическим завещанием» (Н. Л. Степанов) и т. д. Никогда никто не отрицал, что это стихотворение является надежным ключом к сокровенным глубинам мировоззрения Пушкина, к пониманию того, что он думал о себе самом, о взаимоотношениях своих с современниками, о памяти, которую он оставит о себе потомкам. Однако, благоговейно повторяя вдохновенные строки, — как устойчивые словосочетания вошедшие в обиход нашего разговорного языка,[1]—вдумываясь в очевидный и предполагаемый смысл стихотворения, мы, к сожалению, все еще не можем сказать, что объяснили его до конца, что мы достаточно знаем поводы для его возникновения и его во всех отношениях примечательную историю, что мы окончательно разобрались в противоречивых толкованиях, которые оно породило. История создания этого стихотврения и его судьбы в русской поэзии известны нам только приблизительно, неполно и неточно; от его многочисленных комментаторов все же ускользнуло еще многое, настоятельно требующее пояснения и дополнительных разысканий.

Задачей настоящей статьи является критический обзор и пересмотр важнейших работ, посвященных «Памятнику» (как, для краткости, мы будем называть это стихотворение, в подлинной рукописи, как известно, не имеющее заглавия) за последние двадцать пять лет, — с 1937 года, — т. е. со времени столетней годовщины гибели Пушкина, когда широко и содержательно подведены были итоги большого периода изучения его произведений, в том числе и «Памятника». Тем не менее, встречающиеся еще и ныне в текущей литературе о Пушкине (преимущественно в зарубежной) неправдоподобные, неудачные или явно ошибочные истолкования данного стихотворения, нередко прямо основаны на тех сведениях и суждениях, которые высказывались в русской печати до 1937 года; поэтому предпринимаемый обзор следует начать с напоминания важнейших общеизвестных фактов, относящихся к «Памятнику», на которые придется опираться в дальнейшем изложении, сопровождая их, впрочем, и некоторыми новыми попутными наблюдениями.

Стихотворение «Я памятник себе воздвиг», не в пример многим другим произведениям Пушкина, крайне медленно входило в сознание русских читателей; его истинный смысл раскрывался постепенно, в течение долгого времени и с особым трудом; в отзывах о нем много лет господствовали сознательные и бессознательные заблуждения, отразившие в известной мере смену отношений к Пушкину нескольких поко-

[1] Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. Крылатые слова изд. 2-е, М., 1960, стр. 697—689.

лений читателей, но в еще большей степени объяснившиеся недостаточным знакомством с его подлинным авторским текстом. История раскрытия и опубликования этого текста растянулась на целое столетие.

В настоящее время стихотворение известно и печатается в полных собраниях сочинений Пушкина по двум автографическим рукописям, — 1) черновой, неполной и 2) перебеленной, с поправками и датой: «1836 авг(уста) 21. «Кам(енный) остр(ов)».[1] Долгое время исследователям доступна была только последняя; черновой текст (три последних строфы) опубликован был полностью, с прочтением всех исправленных и зачеркнутых мест, лишь в 1937 году.[2] В сущности, только с этих пор из тщательного сопоставления обоих рукописей стало возможным более отчетливо представить себе, как складывался и развивался под пером поэта весь этот его поэтический замысел, как возникало стихотворение в его творческом сознании и отливалось в окончательную законченную форму. Конечно, для более полного понимания этого сложного процесса, в особенности на его начальной стадии, сопоставления обоих рукописей, даже если допустить, что других не существовало, было недостаточно: оно могло служить лишь надежной отправной точкой для последующих исследований. Но и перебеленный текст, с очень интересными и знаменательными исправлениями, стал известен очень поздно, — только в 1881 году, когда его напечатал П. Бартенев в «Русском архиве», сопроводив небольшой, но содержательной заметкой и приложив к ней факсимиле самого автографа.[3]

До этого времени стихотворение было известно лишь в той редакции, которая опубликована в первый раз в девятом

---

[1] Полное собрание сочинений Пушкина, изд. АН СССР, т. III, I (1948), стр. 424, т. III, 2 (1949), стр. 1034, 1271.

[2] Д. П. Якубович. Черновой автограф трех последних строф «Памятника», в сб. «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», т. III, М.—Л., 1937, стр. 3—8. Первоначально неполностью, опубликовано в «Известиях ЦИК» 1937, № 3, от 4 января; частично также в газ. «Литературный Ленинград», 1936, № 52, от 11 ноября. Ср. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. Научное описание. Составили Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский, М.—Л., 1937, стр. 93 (№ 239). Еще в начале 20-х гг. П. Н. Сакулин отмечал в своей статье о «Памятнике»: «Черновой автограф трех последних строф имеется среди рукописей Академии наук, но пока исследователям недоступен» (Пушкин. Сборник первый, ред. Н. К. Пиксанова, М., 1924, стр. 49—50).

[3] «Русский архив», 1881, кн. I, № 1, стр. 235; то же в отдельном оттиске из журнала: «Бумаги Пушкина», вып. I, М., 1881, стр. 201—202; М. Л. Гофман. Посмертные стихотворения Пушкина, 1833—1836 гг. — «Пушкин и его современники», вып. XXXIII—XXXV, Пб. 1922, отр. 411—414.

дополнительном томе «посмертного» собрания сочинений Пушкина, вышедшем в начале мая 1841 г. (ценз. разреш.: 29 апреля)[1]. Эта редакция, как известно, принадлежала Жуковскому, который, имея основание предполагать, что подлинный текст стихотворения, в полном и неповрежденном виде не будет пропущен цензурой, переделал пушкинские стихи, допустил в них собственные вставки и тем самым исказил их прямой и очевидный смысл.

Искажения Жуковского были очень значительны, потому что они коснулись хотя лишь нескольких, но важнейших стихов. В таком искалеченном виде стихотворение перепечатывалось сотни раз,—не только до 1881 года, но и значительно позже, — входило в школьные учебники и хрестоматии, заучивалось наизусть, пересказывалось, подвергалось толкованиям и сопоставлениям с другими произведениями поэта. Цитата из стихотворения, в той же редакции Жуковского, попала на постамент памятника Пушкину в Москве работы А. М. Опекушина, открытый в 1880 г.; характерно, что подлинный текст восстановлен был на этом памятнике только в 1937 году по ходатайству Академии наук СССР и Союза советских писателей.[2]

Еще в конце прошлого века А. А. Стахович с сокрушением и досадой рассказывал всю эту историю увековечения не пушкинских стихов и замечал: «А что надпись на монументе, взятую из нерукотворного памятника, который воздвиг себе сам великий поэт превыше Александрийского столпа, не могли начертать без переделки, поневоле сделанной Жуковским, это узнают и не в столь отдаленном времени»... Мемуариста крайне удивляла длительность цензурного запрета, тяготевшего над «опасными» стихами, и это, действительно, бросается в глаза, если причиной искаженной надписи было не простое невежество. «Неужели цензура, пропустившая в печать эту строфу (без ампутации Жуковского),

---

[1] К. П. Богаевская. Пушкин в печати за сто лет, 1837—1937, М., 1937, стр. 26 (№ 99); Е. И. Рыскин. Библиография текстов, М., 1953, стр. 8—10, 12.

[2] В Ленинграде доныне существует так называемый «первый» петербургский памятник Пушкину, на улице, носящей имя поэта, работы того же А. М. Опекушина, открытый спустя четыре года после московского (в 1884 г.), на котором также читаются два двустишия из того же стихотворения: четвертый стих приведен здесь в черновом, первоначальном, зачеркнутом самим поэтом варианте, к тому же с ошибкой:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я избрал.

См. Л. Н. Назарова. Памятник Пушкину в Петербурге, в кн. Пушкин. Исследования и материалы, т. III, М.—Л., 1960, стр. 467.

в 1887 году[1] наложила снова свое veto, не допустив ее начертать на вечную скрижаль подножия памятнику? Не позволили этого почти через двадцать лет по освобождении крестьян, отмены телесного наказания и других великих деяний (...), о которых в свой жестокий век только мечтал Пушкин. Ежели нашли, что нельзя без переделки написать на монументе эти стихи, следовало выбрать для надписи другое стихотворение, а нельзя было позволить себе исказить на памятнике Пушкину его слова о самом себе и об особенностях своего гения».[2]

В историю восприятия стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг» в прошлом столетии в широких русских общественных кругах должен быть включен еще один характерный эпизод, в равной мере относящийся и к истории русского искусства, потому что речь идет о другом, более раннем произведении скульптуры, замысел которого всецело основан был на том же пушкинском стихотворении. Очень вероятно, что он не был осуществлен из тех же опасений, какие проявились еще при выборе цитаты для московского опекушинского памятника.

В начале 60-х годов с проектом памятника Пушкину выступил Н. С. Пименов (1812—1864). Интересно, что идея его возникла у скульптора, который однажды в юности встретил Пушкина незадолго до его смерти и беседовал с ним о русской школе ваяния. Знакомство Пименова с Пушкиным состоялось в конце сентября 1836 г. в петербургской Академии художеств, на выставке, где всеобщее внимание обратили на себя своей тематикой и трактовкой две скульптуры — «Юноша, играющий в бабки» и «Юноша, играющий в свайку», изваянные молодыми, только что окончившими Академию, скульпторами—Пименовым и Логановским. Пименова,—автора первой из этих скульптур,— представил Пушкину находившийся тут же президен Академии— А. Н. Оленин. Об этой встрече существует рассказ, записанный со слов самого Н. С. Пименова.[3] Четверть века спустя, после долгих лет пребывания за границей и окончательного возвращения

---

[1] А. А. Стахович ошибается; следовало сказать: в 1880 г.

[2] А. А. Стахович. Клочки воспоминаний. М., 1904., стр. 103, (первоначально опубликовано в «Русской старине» 1896, т. 86).

[3] (П. Петров). Николай Степанович Пименов, профессор скульптуры, СПб., 1883, стр. 5—6. По этому рассказу Пушкин долго любовался скульптурой Пименова «вынул записную книжку и тут же написал экспромтом: «Юноша трижды шагнул, наклонился» и т. д. Написанный листок вручен самим поэтом художнику, с новым пожатием и приглашением к себе» и т. д. Оба четверостишия Пушкина—на скульптуры Пименова и Логановского, однако, напечатаны были «с обязательного согласия автора» в «Художественной газете» 1838, № 9—10, стр. 140—141.

на родину, Пименов задумал свою скульптурную композицию, посвященную поэту, о встрече с которым он любил вспоминать всю жизнь. «Память о Пушкине всегда чтил Н. С. Пименов,—рассказывает его биограф,—хотя после свидания и знакомства с ним у своего «бабочника» более не видал. Весть о возможности осуществления общих желаний — почтить первого отечественного поэта достойным его монументом, сильно заняла воображение Пименова».[1] Модель памятника была закончена в мае 1862 г., но одобрения не получила. Отказ жюри конкурса принять этот проект тяжело подействовала на художника. Существует ряд описаний и воспроизведений этой модели.[2] Одно из них сделано тем же А. А. Стаховичем, который рассказывает в уже цитированных «Клочках воспоминаний»: «В мастерской покойного Пименова видел я модель его памятника Пушкину. Поэт был поставлен на скале, со сложенными на груди руками, в той самой позе, по словам художника, в которой раз стал перед Пименовым при разговоре с ним о своем бюсте или статуе. У ног поэта, на пьедестале, изображен был летящий гений, с развернутым полным списком стихотворения:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный.

А внизу — русский крестьянин, в одной рубахе—снятый им армяк лежит на земле — вычеканивая надпись:

Пушкину — Россия,

высекает последнюю точку».[3]

Едва ли подлежит сомнению, что полный текст стихотворения «Я памятник себе воздвиг», предназначенного скульптором для воспроизведения на проектированном им монументальном сооружении, давался бы здесь в традиционной, общепринятой в то время редакции: подлинный текст, как мы уже указывали, еще не был известен в то время; не знал его, конечно, и Пименов, как не мог он знать также, что личная встреча и беседа его с Пушкиным в сентябре 1836 г., состоялась вскоре после того, как стихотворение о памятнике было написано. Тем не менее, для начала 60-х годов, увлекшая Пименова задача—воплотить в скульптурных образах пушкинские строки, выразить, по его собственным словам, «предвидение поэта как гения себя сознающего» и «представить подтверждение признательными потомками его о себе предречения», кажется и значительной и довольно смелой. Скульптура Пименова не только подчеркивала автобиографический характер стихотворения Пушкина, как его основной, определяющий признак, но как бы утверждала в мраморе и

---

[1] (П. Петров). Н. С. Пименов, стр. 17.

[2] Проект памятника Пушкину скульпт. Пименова (рисовал Н. Малышев). «Живописное обозрение», 1880, № 21, стр. 389; И. Шмидт. Н. С. Пименов, М., 1953, стр. 8—9.

[3] А. А. Стахович. Клочки воспоминаний, стр. 104.

бронзе историческую верность и незыблемость его самооценки, которую потомки принимали без колебаний и поправок. Не подозревая о существовании многих подлинных строк стихотворения — например, о свободе, которую поэт «вослед Радищеву» восславил в свой жестокий век, — Пименов все же не убоялся представить на своем памятнике читающую и признательную Россию в «мужицком» образе, в чем нельзя не усматривать явных воздействий на скульптора веяний эпохи освобождения крестьян и общественных реформ. Нужно думать, что это и погубило его проект в мнении официальных кругов; по-видимому отвергнутая модель показалась его судьям «крамольной» по своей основной идее. Это и стоит отметить, потому что именно она выделяет Пименова из ряда вполне заурядных официальных толкователей пушкинского стихотворения того времени.

В 60-е годы прошлого века пушкинский «Памятник» принято было объяснять прежде всего как подражание стихотворению Державина (по аналогии с которым оно и было названо «Памятник» Жуковским) и общему их источнику — оде «К Мельпомене» Горация. Конечно, сам Пушкин дал этому достаточный повод, но для него прямая ссылка на Горация (в эпиграфе) и молчаливое следование Державину, который сам собой приходил на память читателю, были лишь подобием музыкального «ключа» в нотной рукописи—знаком выбора стилистической тональности в собственной поэтической разработки темы, а частично и маскировкой слишком большой самостоятельности этой разработки. Комментаторы делали, однако, упор на подражательность стихотворения и ослабляли этим значение заключающихся в нем глубоко личных, сокровенных признаний поэта.

С какими пояснениями и соответствовавшими ими интонациями стихотворение заучивалось наизусть и интерпретировалось школьниками в середине прошлого века, об этом можно судить по свидетельству, находящемуся в книге И. Соснецкого «Опыт разбора образцов русской словесности»... весьма типичному образчику тех суррогатов школьных учебников, которые были так распространены в тогдашней средней школе. Вот что говорилось в этой книге о стихотворении Пушкина: «Как «Памятник» Пушкина, так и «Памятник» Державина написаны в подражание оде Горация «К Мельпомене». Будучи сходны в общих частях, они представляют много различия в частности, а особенно в причинах бессмертия. Гораций, сознавая достоинство своих произведений, полагает причину своего бессмертия в том, что он из ничтожества сумел достигнуть высшей степени славы и что песни его похожи на песни греческие. Державин причину

[1] (П. Петров). Николай Степанович Пименов, стр. 17.

своего бессмертия полагает в том, что первый осмелился в забавном слоге возгласить о добродетелях Фелицы, беседовал о боге в сердечной простоте и смело говорил правду царям. Пушкин, наконец, причину своего бессмертия полагает в том, что он умел возбуждать добрые чувства, что был полезен живой прелестью стихов и призывал милость к падшим. Он советует музе своей быть послушной велению бога, не страшиться обиды, сносить равнодушно хвалу и клевету и не спорить с глупцами».[1]

Нет, вероятно, необходимости, пространно пояснять, в каком обедненном, приглаженном виде представлялось здесь стихотворение Пушкина, какую произвольную комбинацию из пушкинских и не-пушкинских стихов производил школьный комментатор. Делая особое ударение на последней, пятой строфе — кстати сказать и в XX веке служившей предметом длительных споров, — он намеренно набрасывал тень на первые строфы, хотя уже в 3-м и 4-м стихах Жуковский допустил существенные искажения, затемнившие их смысл.

При первой публикации 1841 г. эти стихи были напечатаны так:

Вознесся выше он главою непокорной
Наполеонова столпа.

Сорок лет спустя, в заметке, сопровождавшей напечатание текста стихотворения по автографу, Бартенев обратил внимание на то, как стихи были написаны Пушкиным и пытался оправдать Жуковского в сознательно им допущенном искажении их: «Что касается до Жуковского, изменившего смысл пушкинских стихов, то винить его невозможно, когда знаешь, что иначе стихотворение могло бы погибнуть, что бумаги Пушкина вслед за его кончиною немедленно были опечатаны чиновником III отделения; что были властные люди, радостно потиравшие себе руки в надежде отыскать в рукописях Пушкина и его переписке новых якобы улик по делу 14 декабря, что участь, например, князя Вяземского висела на недоразумении, что Булгарин с братиею был свой графу Бенкендорфу и Дубельту, подпись которого и теперь красуется на пушкинских тетрадях, хранящихся в Румянцевском музее, откуда взят прилагаемый список».[1] Тем не менее, и сам Бартенев не в состоянии был добраться до смысла искаженного Жуковским стиха о «Наполеоновском столпе» до тех пор, пока он не заглянул в подлинную рукопись поэта. В предшествующие десятилетия, когда Бартенев столь деятельно

[1] Иван. Соснецкий. Опыт разбора образцов русской словесности, заключающихся в программе желающих поступить в студенты императорского Московского университета, М., 1867, стр. 140—141.

[2] П. Б(артенев). О стихотворении Пушкина «Памятник», — в кн. «Бумаги Пушкина», вып. I, М., 1881, стр. 201—202.

собирал путем расспросов сведения для биографии Пушкина, он не смог получить ответа на свой недоуменный вопрос об этом загадочном стихе, обращаясь к таким близким друзьям поэта как П. А. Вяземский и П. А. Плетнев. Что в этом стихе заключен какой-то таинственный намек, это Бартенев мог заключить из свидетельства Гоголя, но и Гоголь окружил свое утверждение таким туманом, что смысл 4-го стиха утрачивался окончательно.

В своей печально-знаменитой книге, вызвавшей горячую отповедь Белинского, в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847) в X-ом отрывке, озаглавленном «О лиризме наших поэтов» и представлявшем собою обработку для печати подлинного письма его к Жуковскому, Гоголь напечатал следующие строки: «Хотя в Наполеоновском столпе виноват, конечно, ты, но положим, если бы стих остался в своем прежнем виде, он все-таки послужил (бы) доказательством (...) как Пушкин, чувствуя свое личное преимущество как человека перед многими из венценосцев, слышал в то же время всю малость звания своего перед званием венценосца»...[1] «Признаемся, что мы не видим тут доказательства, о котором говорит Гоголь», с полным основанием замечал по этому поводу Бартенев.—«Мы напрасно обращались к П. А. Плетневу и князю П. А. Вяземскому за разъяснением, и только теперь (т. е. в 1881 г.) подлинная рукопись Пушкина выясняет, в чем дело».[2]

Слова Гоголя, действительно, крайне неотчетливы; однако они все же могут служить свидетельством, что стих с «Наполеоновым столпом», вместо «Александрийского», а, может быть, и все стихотворение в целом были известны Гоголю в подлинном тексте, и что он, во всяком случае, понимал причину произведенной в нем Жуковским перемены. Несмотря на это, в том же отрывке «Выбранных мест из переписки с друзьями», несколькими страницами ниже и по другому поводу, Гоголь снова цитирует то же стихотворение Пушкина, но в редакции Жуковского, с не-пушкинским стихом:

Что прелестью живой стихов я был полезен...[3]

Таким образом, ни П. А. Плетнев, ни П. А. Вяземский не могли объяснить П. А. Бартеневу кое-каких его недоумений, относившихся к тексту данного стихотворения Пушкина, в частности, загадочного «Наполеонова столпа»; правда, любознательный и настойчивый пушкинист обращался к ним со своими вопросами в поздние годы их жизни, когда многое уже ускользнуло из их памяти. Отсюда возникает естествен-

---

[1] Гоголь. Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, т. VIII, М., 1952, стр. 255.

П. Бартенев, там же, стр. 201.

[3] Гоголь, там же, т. VIII, стр. 259.

ный вопрос, было ли данное стихотворение известно в литературных кругах в его подлинном тексте до первой его публикации в 1841 г.? Знать это весьма существенно не только для истории его истолкования, но и для понимания условий, при которых оно возникло: не забудем, что первыми редакторами произведений Пушкина, оставшихся после его смерти в рукописях, были близкие друзья поэта, знавшие много о его литературных замыслах от него самого. Однако этот вопрос для удобства последующего анализа, необходимо расчленить хронологически на две части: желательно выяснить, что знали об этом стихотворении Пушкина до и после кончины поэта. Обратимся к их выяснению.

2

Нам известно сейчас только два достоверных свидетельства о «Памятнике» Пушкина, относящихся к 1836 году, т. е. ко времени его создания. Оба они напечатаны не так давно, не подвергались еще специальной критической экспертизе и не были еще привлечены в надлежащей мере к решению тех разнообразных задач, которые стихотворение Пушкина ставит перед своими исследователями.

Первое по времени из этих свидетельств стало известно из так называемой «тагильской находки» 1956 года. Это письмо Александра Карамзина к его брату Андрею из Петербурга, датированное 31 августа 1836 года, в котором есть следующие строки: «Пушкин показывал ему (Н. Муханову) только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветренную публику и напоминает свои заслуги перед ней. Муханов говорит, что пьеса прекрасна».[1] Что речь здесь идет именно о стихотворении «Я памятник себе воздвиг», в этом не может быть никаких сомнений. Это явствует, в частности, из сопоставления дат: в основной, полной рукописи перебеленный его текст помечен 21-м августа 1836 г.; письмо Карамзина написано девять дней спустя, встреча же Пушкина с Н. Мухановым состоялась 29 августа, т. е. через неделю. Отсюда, в частности, можно также заключить, что перебеленный и черновой тексты стихотворения не далеки друг от друга по времени своего написания: Муханов говорит о «только что написанном» стихотворении. Столь же важно в словах Муханова указание на злободневный повод его вонизкновения, на причины его породившие: оно согласуется в этом смысле с другими письмами семьи Карамзиных, о чем пойдет речь ниже. Однако,

[1] Ираклий Андроников. Тагильская находка. Из писем Карамзиных, «Новый мир», 1956, № 1, стр. 168; Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов, под ред. Н. В. Измайлова, М.—Л., 1960, стр. 96.

далеко не столь ясно, какую именно рукопись показывал Пушкин Муханову, полный ли перебеленный текст стихотворения или только последние три его строфы, известные нам в черновике (начиная со стиха: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой»... до конца), более соответствующее тому впечатлению, какое от показанного ему стихотворения вынес Муханов. Комментаторы нового издания переписки Карамзиных, обращая внимание на указанное место в письме Александра Карамзина, осторожно поясняют, что «Муханову более всего запомнилась пятая, заключительная строфа стихотворения, в которой он уловил отклик поэта на поверхностные, свидетельствующие о непонимании или враждебности отзывы критики и читателей о его творчестве, якобы иссякшем и клонящемся к упадку».[1] Напрашивается, однако, предположение, что Пушкин показывал Муханову именно черновой текст (последние три строфы без первых двух). Едва ли бы Муханову, который по собственному его рассказу Александру Карамзину нашел Пушкина «ужасно упадшим духом... вздыхающим по потерянной фавории публики», поэт стал читать по своей рукописи торжественные, утверждающие, величавые строки «Я памятник себе воздвиг», тем более, что они заключали в себе опасный в то время политический намек, полный текст стихотворения Пушкин мог показывать только наиболее близким друзьям, к числу которых Николай Муханов все же не принадлежал.

Второе, более позднее документальное свидетельство об интересующем нас стихотворении принадлежит одному из таких именно друзей Пушкина — А. И. Тургеневу. Мы имеем в виду запись его дневника, тоже напечатанную сравнительно недавно и оставшуюся почти незамеченной исследователями. Впервые опубликовал ее П. Е. Щеголев в 1928 году, в третьем издании своей книги «Дуэль и смерть Пушкина», в «Приложении», среди других 28 упоминаний о Пушкине, извлеченных им из рукописного дневника А. И. Тургенева (за период от 25 ноября 1836 по 28 января 1837 гг.). В записи от 15 декабря 1836 г. мы читаем: «Был у Карамзиных (...), сидел у Аршиака... Обедал у Татар(иновой). Вечер — у Пушкиных до полуночи. Дал песнь о Полку Игореве для брата с надписью. О стихах его, Р. и Б. Портрет его в подражание Державину — «весь я не умру!». О. М. Орлов. и Кисел. Ермол. и К. Менш. Знали и ожидали: «без нее не обойдутся». Читал письмо к Чаадаеву не посланное».[2]

---

[1] Пушкин в письмах Карамзиных, стр. 359.

[2] П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы. Изд. 3-е, просмотренное и дополненное, М.—Л., 1928, стр. 278.

Нечего и говорить о том, насколько важны для нас эти лаконичные строки, торопливо начертанные Тургеневым на страницах его дневника в ту же декабрьскую ночь, тотчас же по возвращении от Пушкина. Тургенев по привычке заносил ежедневно свои заметки в дневниковые тетради, и чем насыщеннее примечательными событиями, встречами, содержательными беседами бывали для него такие дни, тем более скудными, сжатыми, сокращенными почти до иероглифических знаков становились строки, предназначенные удержать в памяти то, что было им пережито и перечувствовано за этот день. П. Е. Щеголев оставил без пояснений как эту, так и прочие записи, между тем они настоятельно требуют расшифровки. Трудно, конечно, по цитированным строкам восстановить весь ход искренней, задушевной беседы Пушкина с Тургеневым, затянувшейся до полуночи, но кое что угадать в ней и восстановить все же возможно. Знаменательно, прежде всего, что она касалась творчества поэта, его ближайших литературных дел, отношений его к современникам, идейных несогласий с ними. Начавшись со «Слова о полку Игореве», толкования которого сильно занимали Пушкина в то время[1] закончились они чтением «не посланного» письма к П. Я. Чаадаеву, которое так и не было отправлено Пушкиным по назначению и не сохранилось в его бумагах. Все свидетельствует о большой содержательности этой интимной беседы, которая велась с глазу на глаз, без посторонних. Речь шла также о новых стихах — самого Пушкина, а также о стихах Р .и Б. Кого из поэтов Тургенев имел в виду, сокращая их фамилии до начальной буквы? Очевидно, это были знакомые имена, если он не счел нужным раскрыть их в тетради полностью, явно надеясь на то, что легко вспомнит их, когда будет перечитывать свою дневниковую запись. Для того, чтобы догадаться, кто скрывался под этими прозрачными для А. И. Тургенева инициалами, необходимо заглянуть в оглавление очередной книги «Современника», составлением которой Пушкин озабочен был в декабре 1836 года, или в предшествующую, уже вышедшую в свет. Пятый том журнала был первым из тех, которые выпускались друзьями Пушкина после его смерти; основу этой книги составили рукописи разных авторов, найденные в столе покойного поэта, которые он сам предназначал для своего журнала.

---

[1] А. И. Тургенев имел в виду врученный ему Пушкиным второй экземпляр имевшегося в его библиотеке «Слова о полку Игореве» в пражском издании В. Ганки 1821 года; эту книгу А. И. Тургенев должен был переслать брату, Н. И. Тургеневу, а последний, в свою очередь, Ф. Г. Эйхгофу. См. статью Я. И. Ясинского. Из истории работы Пушкина над лексикой «Слова о полку Игореве» — Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 6, М.—Л., 1941, стр. 338, 367—368.

В V томе «Современника» наше внимание обращают на себя два стихотворения — Е. Ростопчиной «Эльбрус и я»[1] и «Осень» Баратынского.[2] Было бы трудно утверждать с полной уверенностью, что именно об этих двух стихотворениях шла у Пушкина речь с А. И. Тургеневым вечером 15 декабря 1836 года, но мы едвали ошибемся, если предположим, что как раз имена этих двух поэтов Тургенев обозначил в своем дневнике буквами Р. и Б. Что касается «Осени» Баратынского, то это стихотворение прислано было издателям «Современника» уже после смерти Пушкина, хотя начато оно было задолго перед тем и имеет прямое отношение к поэту, который мог знать об этом замысле Баратынского.[3] Однако в предшествующем IV томе «Современника» сам Пушкин напечатал другое стихотворение того же Баратынского («К Вяземскому»), которое, как и многие другие его произведения, могло дать не один повод к обмену мыслями по поводу него с А. И. Тургеневым. Баратынский писал это стихотворное послание из сельского уединения и высказывал в нем полное удовлетворение, что покинул свет, далек от его горестей и радостей, равнодушен к его злоречию и пересудам, живя мирно и тихо в отдалении от забот, —

Где, другу мира и свободы,
Ни до фортуны, ни до моды,
Ни до молвы мне нужды нет,
Где я простил безумству, злобе,
И позабыл, как бы во гробе,
Но добровольно, шумный свет...[4]

Здесь высказывались чувствования, прямо совпадавшие с теми, о которых тайно мечтал и Пушкин в то самое время,— о вольной жизни среди природы, в полной отрешенности от опостылевших ему тревог, клеветы, суетности большого света. Стихотворение же Ростопчиной, напротив, возвращало читателя в ту же привычную для ее поэзии сферу изысканных чувств великосветской среды, со всеми ее условностями,

---

[1] Современник, литературный журнал А. С. Пушкина, изданный по смерти его... т. V, СПб. 1837, стр. 140—142. Подпись: Г(рафиня) Е(вдокия) Р(остопчина).

[2] Там же, т. V, стр. 279—286.

[3] Элегия Баратынского «Осень», неоднократно сопоставлявшаяся с «Осенью» Пушкина, окончена была лишь в январе 1837 г., что удостоверяется письмом его к П. А. Вяземскому, где говорится: «Препровождаю вам дань мою «Современнику». Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строфах этого стихотворения... Брошенную на бумагу, но далеко не написанную, я надолго оставил мою элегию» («Старина и новизна», т. V, стр. 54). См. также М. Л. Гофман. Баратынский о Пушкине. «Пушкин и его современники», вып. XVI, СПб. 1913, стр. 143—166.

[4] «Современник»... 1836, т. IV, стр. 216—218.

показанным равнодушием, уменьем маскировать сердечные порывы. В этом стихотворении, которое могло быть известно Пушкину по рукописи, есть, например, следующие строки:

Как пред красавицей надменной
Поклонник страсть свою таит,
Так пред тобой, Эльбрус священный,
Весь мой восторг остался скрыт...

Как видим, у Пушкина в тот проведенный им наедине с А. И. Тургеневым вечер 15 декабря, когда он говорил о стихах, своих и чужих, был вероятно не один случай перейти на беседу о своих сугубо личных делах, обидах и подозрениях, к тому, что он думал об окружающих его людях и собственной судьбе. Во всяком случае, в той или иной связи со стихами Ростопчиной и Баратынского — если исходить из записи дневника А. И. Тургенева и если она правильно расшифрована нами — Пушкин в тот вечер говорил и о своих новых стихах, все реже появлявшихся на его рабочем столе, и показал Тургеневу стихотворение «Я памятник себе воздвиг», на этот раз несомненно в полном виде, не утаивая ни одной его строки. Запись об этом Тургенева хотя и скупа и лаконична, но все же очень насыщена: «Портрет его (Пушкина) в подражание Державину: нет, весь я не умру». Знаменательно здесь определение стихотворения, как «автопортрета» Пушкина, как попытки его представить самого себя грядущим поколениям, предречь бессмертие своей поэзии: Тургеневу особенно запомнилось начало второй строфы:

Нет, весь я не умру—душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит...

Интересно, что тем же словом «портрет» воспользовался и Гоголь, называя стихотворение «Я памятник себе воздвиг» в письме к Жуковскому (и в книге «Выбранные места из переписки с друзьями») «душевным портретом» Пушкина.[1] Не к Пушкину ли восходит это определение? Не сам ли он называл так для краткости, но и по существу, свое «Я памятник себе воздвиг»? Ведь именно к портрету Жуковского, реальному, а не метафорическому, написаны Пушкиным еще в 1818 году знаменитые строки, говорившие о бессмертии поэзии, — тонкий «словесный портрет» и вместе с тем один

[1] «Наши писатели (...) заключали в себе черты какой-то высшей природы. В минуты сознания своего они сами оставили свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвальством, если бы их жизнь не была тому подкрепленьем. Вот, что говорит о себе Пушкин, помышляя о будущей судьбе своей:

И долго будут тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал (...)

Стоит только вспомнить Пушкина, чтобы видеть как верен этот портрет».

из ранних вариантов «Памятника», воздвигнутого Пушкиным в честь одного из наставников его поэтической юности:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль...
(«К портрету Жуковского»)[1].

И не эти ли обращенные к нему стихи вспомнил и сам Жуковский, готовя в 1840 г. к первой публикации пушкинский «Памятник» и переделывая на свой лад четвертую его строфу?—

Что прелестью живой стихов я был полезен...

Не менее существенно для нас и другое указание в записи А. И. Тургенева. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг» названо им «портретом» поэта, созданным в подражание Державинскому «Памятнику». Было ли это подчеркнуто Пушкиным в беседе или таково было впечатление самого Тургенева, остается неясным; но это и не столь важно, потому что такое ощущение испытывали все первые читатели пушкинского стихотворения, для которых еще живыми, звучащими, широко известными оставались державинские стихотворные строки, воспринимавшиеся как образец, которому следовал Пушкин; это ощущение на долгие годы определило и основную особенность восприятия стихотворения Пушкина и важнейшее направление в его истолкованиях вплоть до наших дней.

Нет сомнения, что Пушкин придавал особое значение этому своему произведению. А. И. Тургеневу он показывал его почти через четыре месяца после того, как оно было создано; напомним еще раз, что запись дневника Тургенева, в котором оно упомянуто, сделана в ночь на 16 декабря, а полтора месяца спустя (29 января 1837 г.) Пушкин умер. Знали ли его по рукописи еще кто либо из друзей и знакомых поэта, кроме Н. Муханова, Тургенева и, вероятно, Карамзиных — неизвестно; никаких известий об этом не сохранилось или они еще не были обнаружены. Едва ли, однако, круг первых его читателей при жизни поэта мог быть велик: на опубликование его в ближайшем будущем Пушкин надеяться не мог, да это, разумеется, и не входило в его расчеты: он писал его для себя и для «завистливой дали» веков.

Жуковский свидетельствует, что в день смерти Пушкина «спустя $^3/_4$ часа после кончины, после того как бездыханное тело поэта вынесли в соседнюю горницу», он сам, по приказанию царя «запечатал кабинет своею печатью». Лишь 7-го февраля 1837 г. кабинет был распечатан; тогда по официаль-

[1] Такими же «душевными портретами», — т. е. характеристиками психологического склада человека, — как сказали бы мы сейчас, — были «надписи» Пушкина: «К портрету Каверина (1817), «К портрету Чаадаева» (1817) и т. д.

ному рапорту «все принадлежавшие поэту бумаги, письма и книги в рукописях собраны, уложены в два сундука и запечатанными перевезены в квартиру д с. с. Жуковского, где и поставлены в особенной комнате».[1] «В течение 16 дней начальник штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельт при участии Жуковского, игравшего довольно унизительную роль «понятого», производил сначала предварительный разбор и сортировку рукописей, затем их пересмотр: это был, в сущности «посмертный обыск» Пушкина».[2] Едва ли в этот период какие либо неизданные его произведения, найденные в его бумагах, могли проникнуть в публику даже через Жуковского: о рукописном наследии Пушкина до питербургских литераторов доходили тогда самые общие и туманные сведения. А. А. Краевский сообщал М. П. Погодину в Москву из Петербурга 23 мая 1837 г.; «В бумагах Пушкина найдено множество отдельных стихотворений, конченных и неконченных, отрывков в прозе, выписок для истории Петра. Все это сбережено, переписано, перемечено и хранится вместе с подлинниками у Жуковского. Может быть все будет издано, — говорю может быть, потому что это зависит от высшего разрешения».[3] Лишь несколько произведений было отобрано Жуковским для помещения в ближайших томах «Современника» (правда, среди них оказались такие крупные вещи как «Медный всадник», «Сцены из рыцарских времен», «Русалка», «Египетские ночи», ряд лирических стихотворений), но «Памятника» среди них не было. Вскоре Жуковский уехал за границу и дальнейшая работа по подготовке рукописей ППушкина к печати остановилась до начала 1840 г. Только в первые месяцы этого года, когда Жуковский возобновил свои работы над пушкинскими рукописями и с помощью друзей приступил к осуществлению издания «дополнительных» томов к посмертному «Собранию сочинений» Пушкина, сведения о еще неопубликованных его стихотворениях, в том

---

[1] М. А. Цявловский. Судьба рукописного наследия Пушкина. «Вестник Академии наук СССР», 1937, № 2—3, стр. 110.

[2] М. А. Цявловский, там же, стр. 110.

[3] «Литературное наследство», т. 16—18, (1934), стр. 723.

числе и о «Памятнике», стали распространяться среди литераторов;[1] тогда же с него могли быть сняты и списки.

Именно в это время «Памятник» через Жуковского должен был стать известным кругу лиц, причастных к выпуску в свет IX-го тома «Собрания сочинений» Пушкина,—А. П. Вяземскому, В. Ф. Одоевскому и другим, в том числе и Е. А. Баратынскому, который, живя в Петербурге в январе—марте 1840 г., часто бывал у Жуковского и вместе с ним просматривал пушкинские рукописи, готовившиеся к изданию. «...Был у Жуковского,—писал Баратынский жене, — Провел у него часа три, разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом, и формою. Все последние пьесы отличаются — чем бы ты думала?—Силою и глубиною! Он только что созревал».[2] От Баратынского, как и от других лиц, сведения эти распространялись и дальше.[3] Никто из этих лиц указания на рукопись «Памятника» не оставил; интересно, однако, что одно из ранних свидетельств об этом стихотворении до его появления в печати принадлежит Белинскому.

Я имею в виду широко известное письмо Белинского к В. П. Боткину из Петербурга от 24 февраля—1 марта 1840 г., много раз напечатанное и не раз цитировавшееся исследователями. По странной случайности ни один из них не обратил внимания на то, что Белинский говорит в этом письме о «Па-

---

[1] Я. К. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. —«Труды Я. К. Грота, т. III, СПб. 1901, стр. 154. А. В. Никитенко записал в своем дневнике (26 января 1840 г.), что в этот день Жуковский отдал ему для цензурования «сочинения Пушкина, которые должны служить дополнением к изданным уже семи томам. Этих новых сочинений три тома. Многие стихотворения уже были напечатаны в «Современнике». Жуковский просит все это просмотреть к субботе. Тяжелая работа! Но надо ее исполнить». (А. В. Никитенко. Дневник в трех томах. М.—Л., 1955, т. I, стр. 219); см. также данные по истории «дополнительных трех томов этого издания и об отношении к нему критики в статье: Вл. Андерсон. Первое посмертное издание сочинений Пушкина «Русский библиофил», 1911, № 5, стр. 82—86.

[2] «Пушкин и его современники», вып. XVI, СПб., 1913, стр. 152.

[3] Т. Н. Грановский сообщал Н. В. Станкевичу в письме из Москвы от 20 февраля 1840 г.: «Вчера же получена новость из Петербурга: скоро выйдут три тома неизданных сочинений Пушкина (...) Забавен следующий случай. Баратынский приезжает к Жуковскому и застает его поправляющим стихи Пушкина. Говорит, что в конце нет смысла. Баратынский прочел, и что же—это пьеса сумасшедшего, и бессмыслица окончания была в плане поэта» (Грановский и его переписка, М., 1897, стр. 384; речь, очевидно, идет о стихотворении «Не дай мне бог сойти с ума»).

мятнике» задолго до его первой публикации:[1] стихотворение напечатано только четырнадцать месяцев спустя в IX томе «Собрания сочинений» Пушкина, вышедшем в начале мая следующего 1841 года (цензурное разрешение датировано: 29 апреля 1841 г.).

Вот что писал Белинский в этом письме: «Владиславлев выпросил у опеки для своего альманаха стихотворение Пушкина. Ты знаешь Державина: «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный»; это одно из самых могучих проявлений его богатырской силы. Пушкин написал то же: я, говорит он в светлую минуту сознания, я воздвиг себе памятник, который выше Наполеонова столба —

Народная тропа к нему не заростет.

Меня будут знать и узкоглазый калмык, и ленивый финн, и черкес; и пока на земле останется имя хотя одного поэта, мое не умрет. О, как действуют на меня подобные самосознания в таких простых, целостных людях, как Пушкин!». И несколькими строками ниже: «Я вижу нравственную идею только в нерукотворных, явленных образах, которые одни есть абсолютная действительность».[2] Очевидно, что Белинский излагал «Памятник» уже с изменениями Жуковского, но неточно, по памяти, не имея перед глазами рукописного списка произведения и воспринимая его так же, как и большинство его первых читателей: как прямое подражание «Памятнику» Державина. Свидетельство Белинского о В. А. Владиславлеве, якобы выпросившем для себя список стихотворения, хотя и не подтверждается фактически, но все же правдоподобно: в альманахе «Утренняя заря за 1841 год», вышедшем в свет в начале ноября 1840 г. (цензурное разрешение: 30 октября), «Памятник» Пушкина не появился, но зато здесь напечатано другое его стихотворение, несомненно полученное из того же фонда пушкинских рукописей—«Для берегов отчизны дальней» (под загл .«Разлука»).[3] Отсюда можно заключить,

---

[1] Не упомянули об этом ни Н. И. Мордовченко в статье «В. Г. Белинский в работе над текстами Пушкина («Литературный архив», т. I, М.—Л, 1938, стр. 297—301), ни Д. Д. Благой (Белинский иПушкин», в сб. «Белинский историк и теоретик литературы». М., 1949, стр. 235—271), ни академическое издание «Полного собрания сочинений» Белинского, где письмо это напечатано с комментариями (т. XI, М.—Л., 1956, стр. 473—474; 685) и т. д. Даже Ю. Г. Оксман в своей образцовой «Летописи жизни и творчества В. Г. Белинского». М., 1958, стр. 239), упоминая об этом письме, так поясняет соответствующее место: «Белинский восхищен только что опубликованным Памятником».

[2] Белинский. Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, М.—Л., т. XI, стр. 473.

[3] К. Н. Богаевская. Пушкин в печати за сто лет, М., 1938, стр. 25 (№ 91).

что в руках издателя альманаха действительно мог быть и список «Памятника», и что в дальнейшем при печатании книги была произведена замена одного стихотворения Пушкина —другим, скорее всего из-за цензурных причин.

Существует, наконец, посвященное памяти Пушкина польское стихотворение 1837 года, в котором пытались усмотреть еще одно свидетельство о знакомстве его автора с неопубликованным «Я памятник себе воздвиг». Мариан Топоровский в своем литературно-библиографическом очерке «Пушкин в Польше», вышедшем в Кракове в 1950 г. обратил внимание на то, что в 1837 году, вскоре после смерти Пушкина в львовском сборнике «Славянин», изданном Станиславом Яшовским («Slawianin, zebrany i wydany przez Stanislawa Jaszowskiego, t. I, Lwow, 1837, str. 9), сам редактор поместил свой сонет, озаглавленный «Пушкин» в цикле сонетов, посвященных выдающимся литературным деятелям славянских народов. Заключительные стихи этого сонета читаются так (привожу их в дословном прозаическом переводе):

Читает тебя в Петрограде салонный дворянчик,
Читает купец, ведущий караваны в Китай,
Башкир, вооруженный луком, и коренастый татарин.
Читает тебя в печальной хижине своей у подножия скал
Камчадал, одетый в собольи меха,
Наполнивший свой котелок рыбьим жиром...[1]

Польскому исследователю представляется знаменательным совпадение (dziwna zbieznosc) этих строк с основным мотивом третьей строфы пушкинского «Памятника» («Слух обо мне пройдет...») и он готов заключить отсюда, что стихотворение Пушкина в рукописных списках проникло из России за границу еще в 1837 г. Эта догадка, однако, совершенно неправдоподобна. Советский славист, В. В. Мартынов, опираясь на осторожное допущение М. Топоровского, шел еще дальше его,

[1] Marian Toporowski. Puszkin w Polsze. Zarys bibliografi czno-literacki, Krakow, 1950, str. 156—157, (N 390). На стр. 143—144 своей книги М. Топоровский указывает на статью «Пушкин», появившуюся в «Rozmaitosci» — (приложении к «Gaz. Lwowskiej»)— 1824,№ 49 (от 10 декабря), стр. 390—391 за подписью S. J. и догадывается, что автором этого первого очерка о Пушкине на польском языке был тот же С. Яшовский; во «введении» к своей книге (str. 15—16) М. Топоровский также называет Яшовского первым критиком, сообщившим о Пушкине польским читателям. В дополнение к этим данным укажем, что С. Яшовский связан был с украинскими и русскими литераторами, группировавшимися вокруг «Украинского вестника», например, с поэтом Александром Склабовским, как это видно из статьи последнего, помещенного в этом харьковском журнале (1825, № 9). — Первый перевод пушкинского «Памятника» на польский язык напечатан был лишь в 1887 г., но лишь после того, как появился перевод Ю. Тувима (1929) «Памятник» стал одним из известнейших стихотворений Пушкина в Польше (См. M. Toporowski, там же, str. 67, 92).

но без всяких на то оснований. «Ясно,—пишет Мартынов, процитировав указанный сонет Ст. Яшовского,—что подобные строки не могли возникнуть у автора, незнакомого с пушкинским «Памятником».[1] В. В. Мартынов несомненно ошибается: в сонете Яшовского трудно увидеть сколько нибудь убедительное сходство с третьей строфой пушкинского стихотворения. Характеристика широкой известности, посмертной славы поэта,—у Пушкина предвидимой, у Яшовского уже бесспорной,—подтверждаемой в обоих случаях перечислением его разноплеменных читателей,—могла возникнуть у русского и польского поэтов совершенно самостоятельно. Предполагать здесь заимствование тем более нет никакой необходимости, что этот мотив принадлежит к числу весьма распространенных в мировой литературе: Пушкин вдохновлен был горацианским мотивом в интерпретации Державина; тот же горацинский мотив в бесчисленных репликах и вариациях повторялся многократно в поэзии эпохи Возрождения, в том числе и в польской (например, у Яна Кохановского).

3.

Итак, о первоначальной истории «Памятника» мы располагаем немногими достоверными свидетельствами; многое остается в ней темным, неясным, интригующим. Очевидно, современники Пушкина, не исключая его друзей, мало знали это стихотворение, не только до, но и после его публикации,—говорили о нем редко, не пытались вдуматься в него, не домогались узнать, как оно возникло и едва ли в состоянии были вполне оценить его по достоинству.

В критических статьях начала 40-х годов лишь один Белинский упомянул его с воодушевлением, в словах, текстуально совпадающих с теми, которые ранее были высказаны им в письме к В. П. Боткину.[1] В конце этого десятилетия о «Памятнике» вновь напомнил Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Несмотря на зловещий колорит этой книги, бросившей отклик и на понимание им «Памятника», отзыв Гоголя, наряду с оценкой Белинского, все же оста-

[1] В. В. Мартынов. Пушкин и Мицкевич — поэты-лирики, в кн. Пушкин на юге. Труды пушкинских конференций Кишинева и Одессы. Кишинев, 1958, стр. 201.

[2] В рецензии на IX—XI тома Сочинений Пушкина (в «Отечественных записках» 1841, т. XVII, № 8), Белинский писал: «Подобно Державину Пушкин переделал «Памятник» (sic) Горация в применении к себе: его «Памятник» есть поэтическая апофеоза гордого, благородного самосознания гения» и тут же привел все стихотворение полностью в редакции Жуковского; упомянут «Памятник» также в первой статье Белинского о Пушкине («Отеч. записки» 1844, т. XXXII, № 2). См. В. Г. Белинский. Полное собр. соч., изд. АН СССР, т. V, (М. 1954), стр. 268 и 811; т. VII, (М. 1955), стр. 355.

ется наиболее интересным из всего, что было сказано об этом произведении в первые годы после того, как оно стало известно читателям по печатному тексту, потому что отклики их обоих внушены были еще живым ощущением личности Пушкина, возможностью объяснить признания поэта не только из стихотворных строк, им написанных, но и из всего того, что они знали о нем, как о человеке, о положении его в литературных кругах, о его слове, о той атмосфере, которой он дышал и в которой рождалась его поэтическая сила. Гоголь, как мы видели, процитировал четвертую строфу «Памятника» в редакции Жуковского и заключал уже от себя, как очевидец, как близкий свидетель жизни поэта: «Стоит только вспомнить Пушкина, чтобы видеть, на верен этот портрет! Как весь он оживлялся и вспыхивал, когда дело шло к тому, чтобы облегчить участь какого-нибудь изгнанника или подать руку падшему».[1] Подобное восприятие «Памятника» как автобиографического документа, раскрывающего человеческий, житейский облик поэта, встречалось изредка и позже, со ссылками на подтверждающие свидетельства ближайших его современников. Так, например, Чернышевский писал в 1856 году: «Все, что мы знаем о Пушкине, как о человеке, заставляет любить его; а великие услуги, оказанные им русской литературе, и поэтические достоинства его произведений, по справедливому замечанию одного из литераторов, писавших о жизни Пушкина, заставляют признаться, что он имел полное право сказать о себе и своих творениях:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный»[2]

(все стихотворение цитировано вполне, с выпуском лишь 3-й строфы). В дальнейшем, когда ощущение живого Пушкина постепенно утрачивалось, тускнел и смысл его автопризнаний, превращавшихся в поэтические декларации и формулы, не наполненные реальным житейским содержанием. Это и открывало возможность читателям и критикам, последующих поколений толковать «Памятник» произвольно, по-своему, в меру их собственных сил, в соответствии с их собственными идейными задачами и эстетическими критериями.

До конца XIX века в критических работах о Пушкине «Памятник» занимал весьма скромное место; посвященное ему скупые, мало-вразумительные, немногочисленные строки выстраиваются в однообразный и монотонный хронологический ряд. Причину такой малой и явной незаинтересованности стихотворением пытались усмотреть в том, что оно обращалось среди читателей в приглаженном, обедненном

[1] Гоголь. Полное собрание сочинений, т. VIII, М. 1952, стр. 260.

[2] «А. С. Пушкин. Его жизнь и сочинения» в кн. Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. III, М. 1947, стр. 339.

виде, которое придал ему Жуковский, изъяв из него самые ответственные и смелые строки,[1] тем не менее, когда многие из них были напечатаны, это не очень и, во всяком случае, не сразу усилило внимание к «Памятнику». Опубликование в 1881 г. П. Бартеневым подлинной рукописи, с приложенным к пояснительной статье хорошим факсимиле автографа, где явственно читались зачеркнутые строки, прошло мало замеченным, несмотря на то, что сам Бартенев, правда очень осторожно, пытался обратить внимание на некоторые из наиболее интересных разночтений. Так, например, из факсимиле явствовало, что в стихе 15-ом,—«Что в мой жестокий век восславил я свободу»—ранее стояло: «Что вслед Радищеву восславил я свободу». В собраниях сочинений Пушкина и этот и другие варианты стали отмечать лишь с 1887 года (впервые—в изд. «Литературного фонда» под ред. П. О. Морозова), однако историко-литературное истолкование изменений, произведенных в рукописном тексте самим поэтом, в ту пору еще не начиналось. Свою роль играли здесь и цензурные запреты, и общий, крайне низкий уровень знаний о Пушкине, и отсутствие подготовительных текстологических работ, опытом которых можно было бы воспользоваться при конкретном анализе стихотворения. Отдельные строфы «Памятника» произвольно ставились в причинную связь с любыми другими стихотворениями Пушкина на темы о призвании поэта и поэзии, без всякого учета их хронологической последовательности («Поэт», «Эхо», «Пророк» и т. д.) или с его прозаическими отрывками разных лет.[1] По-прежнему опорной строфой всего стихотворения в целом считалась последняя, пятая строфа («Велению божию, о муза, будь послушна»...) и ее традиционное истолкование давало не один повод к самым примитивным и ошибочным представлениям о мировоззрении Пушкина, и о «Памятнике» как о поэтическом завещании, оставленном им потомкам. Даже юбилейный пушкинский 1899 год не стал вехой в интерпретации «Памятника», если не считать интересной и знаменательной для того года статьи Вл. Соловьева «Значение поэзии в стихотворениях

[1] Сделанные Чернышевским в четвертой статье его «Очерков гоголевского периода русской литературы» сопоставление «Памятника» Пушкина с произведениями Державина и Горация (Полн. собр. соч., т. III, М. 1947, стр. 137), А. А. Тахо-Годи («Проблемы античной культуры у Чернышевского».—«Ученые записки московского областного педагогического института» 1955, т. XXXIV, вып. 2, стр. 224) сопровождает следующим пояснением: «Если бы Чернышевский знал подлинный текст автора, значимость «Памятника» Пушкина выросла бы в его глазах еще больше».

[2] Виктор Островский. Очерки пушкинской Руси, СПб. 1880, стр. 49—50.

Пушкина» («Вестник Европы» 1899, № 12), лишь отчасти ему посвященной.[1]

Лишь в первые десятилетия нашего века, в связи с обновлением широкого читательского внимания к творчеству Пушкина и началом его углубленного исторического изучения, «Памятник» привлек к себе пристальный и долговременный интерес, вызвав целый ряд критических статей и исследований. Эти исследования основаны были теперь и на экспертизе рукописи стихотворения, и на разнообразных литературных и документальных данных, впервые привлеченных тогда к решению задач, возникавших перед его истолкователями. Нет необходимости подробно иллюстрировать этот новый этап в изучении «Памятника» многочисленными примерами, так как это в значительной степени сделано в известной статье П. Н. Сакулина «Памятник нерукотворный», написанной в 1922 году, но опубликованный лишь два года спустя.[2] П. Н. Сакулин подвел здесь итоги предшествующим изучениям, представив краткий обзор различных мнений о стихотворении Пушкина, и пришел к выводу, что «по-видимому, пора бы уже установить определенный взгляд на смысл «Памятника», для чего, как ему казалось, накопилось уже достаточно материалов и соображений; между тем—констатировал он далее—«полного согласия между исследователями не обнаруживается».

И в самом деле, именно в это время в оценке и толкованиях «Памятника» наметились серьезные расхождения. Напомним лишь несколько наиболее существенных фактов из возникшей по этому поводу полемики. В 1910 г. С. А. Венгеров предпослал воспроизведению «Памятника» в выпускавшемся под его редакцией собрании сочинений Пушкина специальную статью и озаглавил ее: «Последний завет Пушкина».[3] С. А. Венгеров представил здесь результат своего внимательного чтения рукописи «Памятника» и, в частности,

---

[1] Следует, впрочем, отметить, что в юбилейные пушкинские дни 1899 г., в открывшейся тогда перспективе истекшего столетия, «Памятник» вспоминался значительно чаще, чем раньше, — в книгах и статьях о Пушкине, в посвященных ему бесцветных стихах третьестепенных стихотворцев. См. В. В. Сиповский. Пушкинская юбилейная литература. СПб. 1901, В. В. Каллаш. Puschkiniana. Материалы и исследования об А. С. Пушкине, вып. II, Киев, 1903, стр. 167, 168—169, 180, 193, 308 и др.

[2] Пушкин. Сборник первый, ред. Н. К. Пиксанова, М. 1924, стр. 31—76. В основу этой статьи П. Н. Сакулина положен доклад, читанный на открытом заседании пушкинской комиссии Общества любителей Российской словесности, состоявшемся 2 апреля 1922 г., под заглавием «Пушкин перед лицом вечности» (Прения по этому докладу подробно изложены в том же сборнике на стр. 257—261).

[3] С. А. Венгеров. Последний завет Пушкина — Пушкин (Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова, изд. Брокгауза-Ефрона, т. IV, СПб. 1910, стр. 45—48).

свое истолкование переделок, которым сам поэт подверг строки:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.

«Пушкин,—писал С. А. Венгеров, в одну из торжественнейших минут своей жизни превыше всего ценит в литературе учительность... Но интерес пушкинской формулировки назначения литературы еще безмерно возрастает, когда мы обратимся к (....) черновику знаменитого стихотворения.[1] Оказывается, что первоначально Пушкин, совершенно в духе «чистого» искусства так определил свое значение:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел.

Твердо и без столь обычных у него помарок, т. е. без колебания, написал Пушкин свое теоретическое литературное credo. Но вот он перечитывает плод непосредственного вдохновения, снова вдумывается в тему и перед лицом вечности открываются новые горизонты. Нет, мало для поэта истинно-великого одних эстетических достоинств, только к памятнику того не зарастет «народная тропа», кто пробуждает «добрые чувства», кто был учителем жизни. И зачеркивается формула эстетическая и взамен ее дается учительно-гражданская».

Все это рассуждение, основанное на личном домысле исследователя и вполне соответствовавшее его собственным воззрениям на роль и значение литературы в общественной жизни, не было принято безоговорочно ни другими исследователями Пушкина, ни критикой тех лет. Слабость аргументации С. А. Венгерова заключалась в отсутствии в его построении историко-литературной перспективы. Строка о «звуках новых для песен» зачеркнута была Пушкиным по-видимому не потому, что ее призвана была заменить другая противостоящая ей формула об общественном назначении поэзии, но прежде всего потому, что она слишком близко воспроизводит архаическую, но имевшую реальный смысл формулу горациевой оды «К Мельпомене», источника «Памятника», на который сам Пушкин с умыслом указал в эпиграфе к стихотворению; к тому же, как недавно подчеркнул А. Л. Слонимский, вспоминая статью С. А. Венгерова, «общественная формула—о свободе и притом с конкретной ссылкой на Радищева—была и в первоначальной редакции; она совмещалась с исторической формулой о новых звуках».[2]

Статья С. А. Венгерова не осталась без реплик и объективных возражений, но десятилетие спустя М. О. Гершензон выступил с новым толкованием «Памятника», в котором он

[1] Речь идет не о «черновой», но о так называемой «перебеленной» рукописи «Памятника».

[2] А. Слонимский. Мастерство Пушкина. М. 1959, стр. 66.

впадал в противоположную крайность, объясняя его по своему, в полном соответствии со своими тогдашними субъективными воззрениями на соотношение литературы и действительности на роль и значение поэта в общественной жизни его времени и последующих поколений читателей.[1] Интерпретация «Памятника» М. О. Гершензоном вызвала длительную и острую полемику.[2] Именно против нее, в основном, и была направлена статья П. Н. Сакулина, представившая наиболее высокие аргументы против концепции Гершензона и немало способствовавшая прояснению ряда вопросов, связанных с историей стихотворения Пушкина, толкованием Гершезона, казалось, доведенным до полного тупика.

Свою статью Гершензон начинал с изложения общепринятых воззрений на «Памятник», с которыми он вступал в спор. «Стихотворение это написано Пушкиным месяцев за пять до смерти и по содержанию представляет как бы поэтическую исповедь или завещание. О смысле этой исповеди у нас никогда не возникало споров; напротив, все понимают ее одинаково, и убеждены, что понимают верно. Пушкин с законной гордостью говорит здесь о завоеванном им бессмертии, и тут же перечисляет те заключенные в его поэзии непреходящие ценности, которые дают ему право на это бессмертие. Так он сам понимал свою деятельность и так определял ее значение; и эта завершительная самооценка бросает свет на весь пройденный им путь. «Памятник» с полной ясностью открывает нам, какие сознательные цели Пушкин ставил себе в своем творчестве. Так искони объясняют «Памятник» биографы и комментаторы Пушкина».[3] Прибавим от себя, что так полагаем и мы в настоящее время; М. О. Гершензону, однако, представлялось, что в четвертой строфе («И долго буду тем любезен я народу») Пушкин якобы говорит не от своего лица, а излагает мнение о себе народа, мнение грубое и ложное. «Никакой самооценки поэта тут нет. Слово «любезен» употреблено саркастически. Смысл пятой строфы—«смирение перед обидой. Поэт как бы подавляет свой невольный вздох («Не оспоривай глупца»). Горька обида, но таков роковой закон... покорись божьей воле, вот что говорит эта строфа». Оспоривать глупца занятие тщетное и безнадежное. «Бессмертие поэту обеспечено, но такое, что лучше бы его не было,—пересказывает Гершензона Сакулин.—Ведь то, что скажут о нем («чувства добрые» и пр.), это плос-

---

[1] М. Гершензон. Мудрость Пушкина, М., 1919 (статья уже в 1917 г. была оглашена несколько раз в качестве докладов и лекций).

[2] Неполный перечень рецензий и откликов на эту статью см. в кн. Я. З. Берман. М. О. Гершензон. Библиография. Одесса, 1928, стр. 42—43.

[3] М. Гершензон. Мудрость Пушкина, стр. 6—7.

кое суждение толпы, клевета глупцов на самого Пушкина, да и на поэзию вообще. Люди откроют в творчестве Пушкина «то, чего в ней вовсе нет, и проглядят ее истинное содержание: они откроют в ней полезность, нравоучительность. Утешением для поэта, которого ждет столь «пошлая слава», могут служить лишь два обстоятельства: во-первых, найдутся немногие избранные, преимущественно пииты, которые верно поймут его поэзию (для обозначения этой «подлинной славы» Пушкин и употребляет выражение «славен»), а во-вторых, «пошлая слава», «слух» все-таки упрочится не навеки, на что, по-видимому, и указывает слово «долго» и т. д. Этих цитат вполне достаточно, чтобы представить себе весь ход мыслей Гершензона и всю сугубо-идеалистическую и субъективную подоплеку его догадок, меньше всего отвечавших действительному содержанию пушкинского стихотворения. Перечитывая его статью в наши дни, поражаешься не тем, что в ней есть, а тому, какую длительную полемику она вызвала, какие странные и поистине бесплодные допущения она породила, насколько своим ложным мудрствованием она усложнила и запутала естественное понимание «Памятника», в то время как от исследователя требовалось—по мнению самого Гершензона,—«всего только разумно прочитать двадцать умных и ясных стихов Пушкина». Но именно эти ясные стихи и вызвали сложные и нескончаемые споры.

П. Н. Сакулин в своей статье указал на очевидные противоречия и логические неувязки в толковании Гершензона[1] и заново проанализировал все стихотворение, сопроводив свое исследование очень существенными текстологическими соображениями и литературными комментариями, не оставившими и следа от фантастических домыслов автора «Мудрости Пушкина».[2] Тем не менее, полемика с Гершензоном по поводу «Памятника», прямая и косвенная, продолжалась до середины 30-х годов, вызвав целую серию новых работ об этом стихотворении, философских, публицистических и эстетических. В 1925 году, с самостоятельным «опытом истолкования» «Памятника», сделанного с позиций, в равной мере

[1] П. Н. Сакулин. Памятник нерукотворный, стр. 39—40.

[2] Стоит, однако, отметить, что и у Гершензона были предшественники в его истолковании последней, пятой строфы «Памятника». Недоумение вызвала она, например, у А. Евлахова (Пушкин как эстетик, Киев, 1909, стр. 8—9), рассуждавшего с точки зрения столь же откровенно идеалистических предпосылок: «Поэт, конечно, справедливо указал свою заслугу. Пророк строго выполнил «веленье божие». Но вместе с тем, разве это не самоотрицание?—Поэт стал на точку зрения «черни»: он гордится пользой своего искусства, а не им самим; он видит в нем средство, а не цель. Такая метаморфоза, если она сознательна, была бы равносильна самоубийству» и т. д. Возражения, представленные Сакулиным Гершензону, в равной мере разбивают аргументацию А. М. Евлахова, хотя он не имел в виду и не упоминает его брошюру.

противостоявших точкам зрения и Венгерова и Гершензона, выступил Е. И. Боричевский;[1] статья же В. Вересаева «Пушкин и польза искусства», напечатанная в том же году, напротив, оказалась подражанием Гершензону и дальнейшим развитием его беспочвенных гипотез. В. Вересаев объявил, что «Памятник» Пушкина это всего лишь пародия на претившие Пушкину «пышные славословия» «Памятника» Державина, пародия, написанная в привычной для Пушкина манере тонко-иронического воспроизведения осмеиваемого им автора всеми присущими ему стилистическими средствами. «Почему Пушкин в таком ответственном, серьезном произведении, подводящим итог всей его поэтической работе, счел нужным стать рядом с Державиным и заговорить его же словами?» спрашивал себя Вересаев и тотчас же отвечает: «...и вдруг встает ошеломляющая мысль—да не пародия ли все это стихотворение? Прославленное стихотворение, в котором Пушкин, «в горделивом сознании своих заслуг» дает себе должную оценку... не пародия ли оно? Ясно выраженная, неприкрытая пародия на «Памятник» Державина. Неприкрытая, даже подчеркнутая намеренным повторением выражений Державина. Державин сумел выдержать тон до конца, а у Пушкина на это уменья не хватило: ни к селу ни к городу приплел он и клевету, и равнодушие, и глупца какого-то...»[2] и т. д. Такое и на самом деле поистине «ошеломляющее» наблюдение В. Вересаева, основанное на совершенно неисторическом подходе к действительно существующей стилистической близости двух «Памятников»—Державина и Пушкина,—и его полное бессилие объяснить их генетическую связь, не могло остаться без возражений, как и вдохновившие его домыслы Гершензона, и вскоре попала в ту копилку пушкиноведческих курьезов, которая столь быстро пополнялась в те десятилетия.

Полемика с Гершензоном и Вересаевым продолжалась до середины 30-х годов, постепенно ослабевая, но изредка отзываясь репликами, напоминавшими о той страстности, с какой она некогда велась. Так, о ней упомянул А. В. Луначарский в академической речи 1931 г. о «Гейне-мыслителе»; усматривая историческую аналогию между «Памятником» Пушкина и автобиографическим стихотворением Г. Гейне «Enfant perdu», в котором немецкий поэт давал оценку социальной значимости своей лирики, А. В. Луначарский так вспоминал о попытке Гершензона лишить Пушкина прав на

---

[1] Е. И. Боричевский. «Памятник» Пушкина. Опыт истолкования. Труды Белорусского гос. университета, Минск, 1925, кн. VI—VII, стр. 43—51.

[2] В. Вересаев. В двух планах. Статьи о Пушкине, М. 1929, стр. 111—121 (первоначально в ж. «Печать и революция» 1925, кн. V—VI).

подобное же самопризнание: «М. Гершензон пытался доказать, что стихотворение имеет иронический смысл, что Пушкин смеялся над народом, который воображает, будто поэт боролся за него. Но Пушкин смеялся здесь только над такими людьми, как Гершензон—это он их называл глупцами».[1]

Итоги полемики подводились уже в начале этого десятилетия. И. Л. Фейнберг сделал это в 1933 году в тонко-иронической манере «воображаемого разговора», в котором принимают участие Ведущий, Гершензон, Вересаев, Сакулин, говорящие цитатами из своих статей, и сам Памятник, выступающий и от себя и от имени своего создателя.[2] Эта остроумно составленная беседа на тему «об освоении классиков» подчеркнула лишний раз, как много еще оставалось объяснить в «умных и ясных стихах» пушкинского «Памятника», какую причудливую форму принимали идеи и образы Пушкина, попадая под перо толкователей-потомков, чуждых его интересам, невосприимчивых к реальному идейно-стилистическому строю его созданий, бессильных объяснить историческое явление и находивших в нем только то, что они хотели найти в соответствие личным склонностям и пристрастиям.

4.

Только в 1937 году, в столетнюю годовщину со дня гибели Пушкина раскрылось впервые по настоящему подлинное значение этого пушкинского «завета». Именно теперь «Памятник» заново возник перед читателями в своей исторической сущности, освобожденный от опутавшей его паутины искажающих толкований и сложных мудрствований, в надлежащей перспективе и освещении, со всеми своими следствиями и породившей их причиной, во всех закономерностях и этапах своей своеобразной судьбы. Начался период более спокойного его изучения, поставившего своей целью разгадать замысел создавшего его поэта, возникший из впечатлений о современной ему действительности, глубже проникнуть в идейный строй самого стихотворения, как в исторически обусловленное произведение мысли и искусства,—строй не воображаемый или предполагаемый, но реальный в полном смысле, раскрытый и подтвержденный всеми средствами, доступными историческому и филологическому анализу.

---

[1] А. В. Луначарский. Статьи о литературе, М. 1957, стр. 602—603 (ранее в «Литературном критике» 1934, № 5).

[2] И. Фейнберг. Памятник. «Литературный критик» 1933, № 5,

После опубликования чернового автографа «Памятника»[1] дальнейшая его текстологическая экспертиза вставала на твердую, незыблемую почву; совершенствовались методы всестороннего изучения литературного наследия Пушкина; на основе новонайденых или впервые объясненных исторических и литературных документов, неизмеримо шире и глубже, чем раньше, становилась известна и самая эпоха, в которую жил и творил Пушкин, его литературная среда, его соратники, друзья и враги.

После 1937 года историко-литературное изучение «Памятника» развивалось, главным образом, в следующих направлениях: 1) путем дальнейшего сопоставления (или противопоставления) устанавливались реальные соотношения между стихотворением Пушкина, «Памятником» Державина, общим для них первоисточником—одой Горация и другими сходными произведениями русской и мировой литературы; 2) изучалась поэтическая структура «Памятника», особенности его стиля и языка на общем фоне развития стилей русской литературной речи и поэтической лексики; 3) изучалось место, занимаемое «Памятником» в поздней лирике Пушкина, в частности, в соотношении с лирическими циклами 1835—1836 гг. и общими идейными тенденциями его творчества. По всем этим вопросам исследования привели к ценным результатам; высказаны были новые соображения, сделаны были свежие наблюдения; обобщены были, после тщательного критического пересмотра, итоги всех ранее произведенных изучений, хотя сводной монографической работы о «Памятнике», к сожалению, не существует и доныне. Стоит отметить, что изучение не только «Памятника», но и большинства других произведений Пушкина, в частности, его лирики, сильно затруднялось в последнее время отсутствием новых, достаточно подробно комментированных изданий его произведений, — таких, в которых можно было бы найти, без самостоятельных разысканий, необходимые фактические справки о том или другом стихотворении, свод высказанных о них мнений, систематически распределенных по степени их достоверности, с критикой отброшенных догадок, с поддержкой правдоподобных или предвидимых, т. д. Отсутствие подобных изданий пагубно сказалось не только на многих новейших работах советских пушкиноведов, но и, в особенности, на зарубежной пушкиниане, где именно с 1937 года начали появляться довольно многочисленные статьи и исследования о Пушкине, и, в частности, о его «Памятнике». Такие работы появились в Бельгии и Франции,

[1] Д. П. Якубович. Черновой автограф трех последних строф «Памятника» — Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 3, М.—Л., 1937, стр. 5.

Германии и США. Не имея возможности опереться на советские комментированные издания, недостаточно, случайно, выборочно зная специальную литературу, зарубежные ученые не раз возрождали к новой жизни давно отброшенные у нас толкования, опирались на осужденные советской филологией недоброкачественные, неисторические работы о Пушкине и широко распространили неверные домыслы, ненужные догадки. Мы же, со своей стороны, не достаточно внимательно следили за этими работами, все увеличивающимися в числе, не откликались на них, не выступали с обоснованными возражениями тогда, когда это вызывалось существом дела и не смогли во время воспользоваться такими их наблюдениями и находками, которые безусловно заслуживают нашего внимания.[1]

Известность поэзии Пушкина за рубежом заметно расширилась в последние десятилетия, в особенности после 1937 года, когда мировое ее значение было раскрыто более явственно. Существенную роль сыграло в этом процессе широкое распространение русского языка, доставившее возможность читать и изучать Пушкина в русском подлиннике. Естественно поэтому, что в целой серии работ, посвященных творчеству Пушкина зарубежными исследователями оказался ряд статей, специально посвященных «Памятнику». В XIX веке это стихотворение за пределами нашей страны не пользовалось особой популярностью. Правда, существовало несколько весьма посредственных переводов его на западноевропейские языки, сделанные в конце века (преимущественно в юбилейный 1899 год), но оно никогда не привлекало к себе специального внимания, вероятно, прежде всего потому, что считалось одним из бесчисленных подражаний Горацию, столь изобильно представленных во всех литературах Европы; свое значение имело в то время и малое внимание, уделявшееся «Памятнику» в русской критической и исследовательской литературе о Пушкине. Однако, за последние десятилетия интерес к «Памятнику» за рубежом обозначился очень отчетливо.

Один из первых французских переводов «Памятника» сделан был с русского языка профессором классической филологии Анри Грегуаром и включен в его статью «Гораций и Пушкин», опубликованную в Бельгии (в г. Намюре) в специальном журнале: «Les études classiques». Первое четверостишие Пушкинского стихотворения, под пером переводчика, впрочем, превратившееся в пятистишие, читается здесь так:

---

[1] На интерес для советского пушкиноведения зарубежной исследовательской литературы о Пушкине мне уже приходилось указывать неоднократно. См., например, в сб. «Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур. Материалы дискуссии». М. 1961, стр. 362—365.

Mon monument n'est pas l'ouvrage des humains,
Et mon peuple y viendra par un sentier, dont l'herbe
Ne cachera jamais la trace du pélérin,
Il dépasse en hauteur, de sa tête superbe
Le phare des Alexandrins.[1]

В обратном дословном переводе эти стихи означают следующее:

Мой памятник не сотворен людьми,
И мой народ будет приходить к нему по тропинке,
Трава никогда не скроет на ней след паломника.
Он превосходит высотой, своей гордой главой
Фарос Александрийцев.

На пояснениях А. Грегуара мы остановимся ниже, необходимо, однако, сразу же подчеркнуть, что с переводом русского текста он явно не справился; очевидно, даже начальные стихи представляли для него непреоборимые затруднения. На допущенных им отклонениях от русского оригинала стоит остановиться особо, так как они и определили своеобразие даваемого им толкования «Памятника» в целом. В первой строфе стихотворения главное препятствие для переводчика составили слова «нерукотворный», «вознесся он главою непокорной», «Александрийский столп»; до смысла их он явно не добрался.

Изучение разноязычных переводов поэтических текстов, интересное и поучительное и само по себе, порой может быть применяемо не без пользы для критики текстов оригинала: самые привычные для нас слова в хорошо знакомом стихотворении начинают звучать по новому при простом сопоставлении их с найденными для них переводчиками иноязычными смысловыми соответствиями. Но А. Грегуар не просто переводчик, это переводчик-толкователь, переводчик-ученый, с особой осторожностью и с критически-обдуманным намерением выбиравший иноязычные соответствия словам тщательно изучавшегося им пушкинского текста. Он преисполнен уважения к памяти Пушкина и высоко ценит его как поэта; наконец, и «Памятник» вызывает его восхищение не только по его поэтическим качествам: А. Грегуар осведомлен о том значении, какое это стихотворение имеет в русской поэзии и даже явно преувеличивает его роль, утверждая, что «сто миллионов человек могут прочесть «Памятник» от начала до конца без ошибки, подобно тому как мусульмане и христиане могут произнести свой символ веры». Поэтому, в предлагаемом им переводе интересно разобраться.

Первую строку стихотворения: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» Грегуар перевел: «Мой памятник не сотворен людьми». И в самом деле, что означает у Пушкина

[1] Henri Grégoire. Horace et Pouchkine. «Les études classiques», 1937, vol. VI, N. 4, p. 525—535.

слово «нерукотворный»? Ведь и для современников Пушкина смысл его оставался неясным, зыбким, ускользающим. К нему, например, пробовал придраться даже П. А. Вяземский, заметивший однажды: «А чем же писал он стихи свои как не рукою? Статуя ваятеля, картина живописца, так же рукотворны, как и написанная песнь поэта».[1] И для Белинского, по-видимому, смысл его открылся не сразу; высказывая свое первое впечатление от «Памятника», Белинский пояснял слово «нерукотворный» другим, заимствованным из той же, как ему тогда, очевидно, казалось, сферы шеллингианских представлений о вдохновенном певце: «Я вижу нравственную идею только в нерукотворных, явленных образах, которые одни есть абсолютная действительность, а не те, где хитрила человеческая мудрость».[2] Философский смысл пушкинского эпитета «нерукотворный» пытался вскрыть в своем «опыте толкования» «Памятника» Е. И. Боричевский.[3] Неудивительно, что слово это смутило А. Грегуара, не имевшего возможности производить самостоятельные разыскания по истории употребления слова «нерукотворный» в русском литературном языке в пушкинское время и искавшего его объяснения в практическом русско-французском словаре и в простейшей его этимологии. Однако А. Грегуар шел дальше и счел необходимым объяснить в своей статье, почему он остановил свой выбор на данном им переводе этого эпитета. Он исходит из того, что вдохновителем Пушкина был Гораций и что, в конечном счете, «Ода к Мельпомене» Горация все же остается первым и основным источником пушкинского «Памятника». В связи с этим А Грегуар напоминает, что если Гораций называет свой памятник aere perennius—крепче меди, то Пушкин идет гораздо дальше и его, и Державина, сочетая два слова державинского подражания «чудесный» и «вечный», говорящих о «чуде» его происхождения и «бесконечности» его существования,—в одном слове — «нерукотворный», заимствованном из области религиозных представлений и

---

[1] П. А. Вязмский. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 333.

[2] Белинский. Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. XI, стр. 474.

[3] «Художественный процесс есть. по мнению Пушкина акт высокой сознательности и в то же время нечто глубоко сознательное и в своей эмоциональности стихийное, неподвластное никаким рассудочным нормам и требованиям. В этом смысле явления поэтического творчества столь же нерукотворны как явления природы (...) Нерукотворные законы природы действуют в художественном творчестве плодотворнее и целесообразнее законов-норм, слишком рассудочных и в своей рассудочности слишком плоских, чтобы их вмешательство могло быть полезно. Этот взгляд не бесспорен. Но это—взгляд Пушкина» и т. д. (Е. И. Боричевский. «Памятник» Пушкина. Труды Белорусского гос. университета, 1925, т. VI—VII, стр. 47—48); ср. здесь же рассуждение, действительно ли создания поэта прочнее памятников пластического художника (стр. 43—44).

употребляемом для обозначения чудодейственных («явленных») икон, как перевод греческого «acheiroietos».

Для нас ясно сейчас, что эта справка ученого филолога-классика бьет мимо цели и что он оказался на ложном пути. Каждый грамотный человек знает у нас теперь, что слово «нерукотворный», лишь однажды употребленное Пушкиным[1] следует понимать в том смысле, в каком оно введено им самим в русский метафорический словарь, что оно означает «благородную память о чьих-либо делах»,[2] неистребимую память в потомстве и не имеет никакого отношения к лексике православной теологии. Но для А. Грегуара это слово освещает центральную идею стихотворения в целом; первый его стих, смыкаясь с семнадцатым («Велению божию, о муза, будь послушна») образует, будто бы, декларацию поэта о непреходящем значении его боговдохновенного творчества и является, таким образом, в отличие оды Горация, документом христианской религиозной мысли. Хотя это толкование А. Грегуара не осталось без возражений, но оно находило и своих защитников, вплоть до недавнего времени.[3]

Между тем, в том же 1937 г. Р. Якобсон в статье «Статуя в творчестве Пушкина» предложил другое объяснение слова «нерукотворный»:[4] оно заимствовано Пушкиным из стихотворной «надписи» В. Рубана к Фальконетовскому «Медному всаднику», в которой оно применено к гранитной скале постамента памятника:

Колос Родийский, свой смири прегордой вид.
И Нильских здания высоких пирамид,
Престаньте более казаться чудесами:
Вы смертных бренными соделаны руками!
Нерукотворная здесь Росская гора,
Вняв гласу божию из уст Екатерины,
Пришла во град Петров, через Невские пучины,
И пала под стопы Великого Петра.

Объяснение это, конечно, правильно. «Надпись» В. Рубана была несомненно в памяти Пушкина, когда он писал свой «Памятник»; в прямой ассоциативной связи с этой «надписью» находится также и пушкинский «александрийский столп». Справедливости ради необходимо, однако, отметить, что это наблюдение, задолго до Р. Якобсона, сделано было советскими пушкиноведами. Л. В. Пумпянский обосновал это заимствование Пушкина соображениями историкостилисти-

---

[1] Словарь языка Пушкина, т. II, М. 1957, стр. 834.
[2] Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. Крылатые слова, изд. 2-ое, М. 1960, стр. 697—698.
[3] Rolf-Dietrich Keil. Zur Deutung von Puskins «Pamjatnik». — «Die wilt der Slaven» 1961, Jhg. VI; H. 2, S. 192.
[4] R. Jacobson. Socha v dile Puskinove. — «Slovo a slovesnost», (Praha), 1937, Rocn. III, N I, str. 15—16.

ческого характера.[1] Цитированное стихотворение В. Рубана и упомянутое в примечании к «Медному всаднику», было широко известно у нас в пушкинское время. Об этом свидетельствует М. Загоскин; процитировав четыре последних строки этой «надписи», он восклицает: «Кто не знает этих превосходных стихов из надписи к монументу Петра I, по милости которых имя Рубана не совсем еще забыто? Итак, нет сомнения, что человек, не имеющий никакого таланта, может ошибочно сочинить несколько хороших стихов»...[2]

В особенности посчастливилось в зарубежном литературоведении другой детали переведенного А. Грегуаром «Памятника»—«Александрийскому столпу» (в стихах 3—4: «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа»), превращенному переводчиком в «Фарос Александрийцев». А. Грегуар подробно обосновал мотивы, приведшие его к такому именно истолкованию загадочного для него стиха. Важнейший из его аргументов—грамматического свойства: прилагательное «Александрийский» происходит от названия города — Александрии, а не от имени—Александра. Конечно, это совершенно справедливо: стоит только вспомнить «Египетские ночи»:

Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.

Напоминая, что Гораций в своей оде говорит о «пирамидах» (они сохранены в «Памятнике» Державина) и что в древности египетские пирамиды считались одним из «семи чудес» света, А. Грегуар утверждает, что Пушкин выбрал для сравнения со своим памятником другое «чудо» из тех же сами, потому что в наиболее известных перечнях этих чудес «пирамиды» стоят на первом месте, а «Фарос» — на последнем.[3]

Все это построение не только искусственно, но и совершенно излишне, если следовать русским источникам и придерживаться общепринятого толкования, что Пушкин под

---

[1] И. Фейнберг, «Памятник». Литературный критик, 1933, стр. 85—97. Л. В. Пумпянский. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII в —Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, Т. 4—5, М.—Л., 1939, стр. 110—111.

[2] М. Загоскин. Выдержки из памятной книжки, в сб. «Литературный вечер», М., 1844, стр. 146.
Ранее, Н. И. Греч в своем «Опыте краткой истории русской литературы» СПБ., 1822, стр. 235 говорил о Рубане, что «к потомству перейдет лишь одна его Надпись». Ср. его «Записки моей жизни». М.—Л., 1930, стр. 40, 775.

[3] В этот перечень, где самые «чудеса» располагались в различном порядке, входили: 1. Пирамиды в Египте; 2. Фарос в Александрии; 3. «Висячие сады» в Вавилоне; 4. Храм Артемиды (Дианы) в Эфесе; 5. Статуя Зевса Олимпийского (Юпитера), работы Фидия, 6. Мавзолей (воздвигнутый Артемизией) в Галикарнассе; 7. Колосс Родосский.

«Александрийским столпом» имел в виду Александровскую колонну, воздвигнутую в честь Александра I на Дворцовой площади Петербурга в 1834 году. Тем не менее, догадка А. Грегуара привлекла к себе внимание и вызвала ряд откликов в зарубежной печати, сочувственных и полемических. Статья А. Грегуара, с которой он знакомил интересующихся еще до ее опубликования, по его словам, разделила читателей на два лагеря: 1) стоявших за его гипотезу—«александрийцев» или «фаросцев», и 2) отстаивавших традиционное толкование—«александровцев». На первых порах, некоторые зарубежные ученые даже приняли его догадку: так, в 1945 г. ныне покойный американский славист Семуэл Кросс, рецензируя новый перевод пушкинского «Памятника» на английский язык (В. Набокова), отметил, что в стихах:

Tsar Alexander's colurmn it exceeds
In splendid unsubmissive height—

содержится ошибка, поскольку «александрийский столп» значит «fo Alexandria» и «не имеет отношения к Александру I и колонне на Дворцовой площади».[1] Впрочем, и сам А. Грегуар, сознавая, очевидно, рискованность своей догадки, предлагал и другое возможное толкование тех же пушкинских строк: «Помпеева колонна» в Александрии.[2]

В 1954 г. против гипотез А. Грегуара выступил В. Ледницкий в широко аргументированной статье.[3] Он еще раз вернулся к грамматическому вопросу о значениях прилагательных «Александрийский» и «Александровский» в русской речевой практике XVIII—XIX вв., чтобы подтвердить возможность понимания слова, употребленного Пушкиным, как производного от имени Александр и отверг все доводы в пользу гипотезы о египетской столице. Правда, Пушкин хорошо знал о Фаросском маяке; он упоминается в отрывке, связанном с «Египетскими ночами» — «Гости съезжались на дачу»: «Темная, знойная ночь объемлет Африканское небо; Александрия заснула; ее стогны утихли, дома померкли. Дальний Фарос горит уединенно в ее широкой пристани, как лампада в изголовьи спящей красавицы». Но именно потому едва ли Пушкину могло прийти в голову назвать «столпом» эту высокую башню, увенчанную горящими огнями маяка.

Меньше внимания уделил В. Ледницкий другому допущению А. Грегуара, что под «Александрийским столпом» Пуш-

[1] «American Slavic and East European Review» 1945, vol. IV, N 8—9, p. 218.

[2] Henri Crégoire. Horace et Pouchkine p. 531—532.

[3] W. Lednicki. Grammatici certant. «Harvard Slavic Studes», vol. II, 1954, (Cambridge, Mass.), p. 241—263; в дополненном виде, под заглавием «Pushkin's Monument», статья вошла в книгу В. Ледницкого, напечатанную в Голландии: «Bist of Table Talk on Pushkin, Mickiewicz, Goethe, Turgenev and Sienkiewicz», The Hague, 1956, p. 87—110.

кин мог подразумевать так называемую «Помпееву колонну», хотя эта догадка представлялась бы более правдоподобной, хотя бы по той причине, что «Помпеева колонна» пользовалась большой известностью и неоднократно упоминалась в русской литературе нач. XIX в.—в книгах о Египте, об архитектуре древнего мира и т. д. Так, например, архимандрит Константин уделил Помпеевой колонне целую страницу в своей книге «Древняя Александрия». Он именует ее «Помпеев столб» и так характеризует это сооружение: «Огромность, соразмерность и разительная красота монумента сего превосходит все существующие в ордене Коринфском».[1] Еще подробнее описана эта колонна в другой книге о Египте, переведенной с французского, где она именуется «колонна Александрийская» и «Столб Александрийский»: «это прекраснейшая колонна, коей выше на свете не бывало».[2] «Помпеева колонна», на ряду со многими другими аналогичными памятниками древности, неоднократно упоминалась также в русской печати середины 30-х годов в связи с «Александровской колонной», воздвигнутой в Петербурге; естественно, поэтому, что она была известна и Пушкину и что «столп александрийский» мог вспомниться ему, по ассоциативному сходству тогда, когда он говорил о петербургском «столпе»: прилагательное «Александрийский» получило как бы двойную смысловую нагрузку и тем самым маскировало его истинные намерения: «употребив это прилагательное вместо Александровский,—разъяснял, например, П. Я. Черных, — поэт хотел замаскировать слишком откровенный характер своего утверждения, что его нерукотворный памятник (...) вознесся своей непокорной главою выше Александровской колонны,—утверждения, заключающего открытый вызов царю и его приспешникам».[3]

На возможность ассоциативной связи между «Александрийским» и «Александровским» столпами указывает еще один источник, тем более интересный, что речь идет о книге автора, близко известного Пушкину, встречавшегося с ним и находившегося с ним в переписке. В 1834—1835 гг. А. С. Норов совершил путешествие по Египту и собственными глазами увидел прославленный «Помпеев столб», вскоре после

---

[1] Арх. Константин. Древняя Александрия, М. 1803, стр. 18.

[2] Путешествие господина Сониния в Верхний и Нижний Египет, М. 1809, стр. 108—117.

[3] П. Я. Черных. Из наблюдений над языком стихотворения Пушкина «Памятник». «Русский язык в школе» 1949, кн. 3, стр. 35—36. Ранее Д. П. Якубович в статье «Черновой автограф трех последних строф Памятника» («Временник Пушкинской комиссии», т. 3, М.-Л., (1937) отмечал, что именуя «столп» «Александрийским», «Пушкин» словно бы отводил читателя к памятникам Египта (Александрии), но, конечно, имел ввиду не их, а превышающую их высотой Александровскую колонну» (стр. 6).

того, как сам наблюдал за торжествами открытия «Александровской колонны» в Петербурге. Оба эти события были невольно сближены им и возбудили разнообразные мысли, которым он посвятил несколько страниц в описании своего «Путешествия». Мы читаем здесь: «Торжественный памятник, носящий имя Помпея, теперь отброшен за город (Александрию) и стоит на краю пустыни и мертвого озера Мореотрийского. Масса колонны величественна, помещена на холме в виду моря, живописна; воспоминания оттеняют картину своими красками, но уединение этого памятника очаровывает зрителя. Я невольно сравнил это запустение с тем торжеством, которого я был недавно свидетелем, когда на берегах Невы подобный колосс, но еще более величественный, воздвигался в память Александру Благословенному. Этот торжественный день был назначен мною для моего отъезда. Я хотел упиться радостью народной. Коляска моя была запряжена, когда я наслаждался этим величественным зрелищем (...) Запустенье колонны Помпеевой вселило в меня ту же меланхолию, как чтенье стихов Горация, который, обращаясь к солнцу, говорит: «Да не узришь ты ничего величественнее Рима», или предрешая бессмертие своим стихам, сказал, что они должны жить до той поры, пока жрец и весталка будут восходить по ступеням Капитолия».[1] Все чрезвычайно характерно в этом рассуждении для современника Пушкина, вплоть до его лексики («торжественный памятник», колосс «воздвигся в память Александру») и до цитаты из той самой оды Горация «К Мельпомене» (III, 30), на которую сам Пушкин указал как на источник своего стихотворения. Весьма интересно также и то, что А. С. Норов говорит далее о назначении колонны; отвергая различные догадки о ней археологов (и, в частности, принятую ныне гипотезу о том, что она сооружена в честь имп. Диоклетиана в IV в. н. э.), А. С. Норов решительно заявляет: «Я согласен с теми, которые полагают колонну памятником основателя Александрии, герою Македонскому (...) Колонна стоит на том месте, где стояла гробница Александрова, и несомненно была его надгробным памятником». Этот ход мыслей решительно подтверждает возможность понимания «Александрийског столпа» в стихотворении Пушкина современниками как двусмысленной и многозначительной поэтической формулы, на что Пушкин мог и сознательно рассчитывать. «Что то есть в самом деле пленяющее в этом длинном, благородном, динамическом слове «александрийского»,—заметил недавно

---

1 А. С. Норов. Путешествие по Египту и Нубии в 1834—1835 гг., ч. I, СПб. 1840, стр. 46—48. Приношу искреннюю благодарность Г. М. Кока, обратившему мое внимание на эту книгу и другие русские источники о «Помпеевом столбе».

С. В. Шервинский, говоря о Пушкинском «Памятнике»,— недаром Валерий Брюсов целиком повторил этот, видимо, очаровавший его стих в пьесе: «Александрийский столп»:

На Невском, как прибой нестройный,
Растет вечерняя толпа,
Но неподвижен сон спокойный
Александрийского столпа.[1]

5

Центральная часть статьи В. Ледницкого, упомянутой выше, посвящена доказательству того положения, что под «Александрийским столпом» Пушкин имел в виду колонну, воздвигнутую в Петербурге архитектором Монферраном в честь Александра I и в торжественной обстановке открытую 30 августа 1834 года. Доказательства эти основаны на русских документальных источниках и литературе о Пушкине, достаточно полно, хотя и не без пропусков, использованных В. Ледницким в его исследовании. Такое утверждение, взятое само по себе, может быть, и не требовало бы столь широко развернутой аргументации, поскольку для русских исследователей Пушкина оно никогда не служило объектом спора, но некоторые подробности торжества открытия колонны, на котором Пушкин намеренно не присутствовал, и, в особенности, освещение этого события в русской и иностранной печати, проливают свет на условия, при которых был создан «Памятник», а упомянутый в нем «столп» получает дополнительное значение.

Хорошо известна запись в дневнике Пушкина, датированная 28 ноября 1834 г.: «Я ничего не записывал в течении трех месяцев, я был в отсутствии—выехал из Пб. за пять дней до открытия Александровской колонны, чтобы не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами, своими товарищами».[2] Но колонна воздвигнута была еще в 1832 г., за два года до ее открытия, и начиная с этого времени в течение нескольких лет литература об этой колонне, — специальная, публицистическая и поэтическая,—появлялась непрерывно. Так, например, еще в 1832 г., т. е. в год ее поднятия, Ф. Глинка напечатал стихотворение «К гранитному столпу, воздвигаемому во славу Александра I», где, между прочим, писал: «Не рушат тверди сей ни зуб времен, ни грозы; двинь море — и она останется цела».[3]

Петербургская печать следила за ходом архитектурных

[1] С. В. Шервинский. Ритм и смысл. К изучению поэтики Пушкина. М. 1961, стр. 122.

[2] Дневник А. С. Пушкина (Труды Государственного Румянцовского музея, вып. I) М. 1923, стр. 62; Дневник Пушкина 1833—1835. Под ред. и с объяснительными примечаниями Б. Л. Модзалевского, М.—П. 1923, стр. 21.

[3] «Литературные прибавления к Русскому инвалиду» 1832, стр. 327.

и скульптурных работ перед торжественным открытием этой колонны, описывала ее детали, сопоставляла ее с другими сооружениями древнего и нового мира.[1] Из этой довольно обширной литературы многое, вероятно, было Пушкину известно: с другой стороны, хотя он и не присутствовал на торжестве открытия колонны, зато, в течение двух лет должен был видеть все подготовительные работы на Дворцовой площади, — о них много говорили в городе, — не исключая поднятия колонны на монолитный цоколь, для чего установлены были мощные леса.[2] Из всего этого, однако, вовсе не следует, что в открытии колонны, в литературных откликах на это событие или толках, которые шли по этому поводу, следует искать источник, вдохновивший Пушкина на создание «Памятника». Справедливо возражая А. Грегуару, пытавшемуся истолковать стихотворение Пушкина как своего рода христианскую медитацию на темы из Горация, В. Ледницкий впадает в другую крайность, усматривая в «Памятнике» чуть ли не памфлет против Александра I, безусловно, преувеличивая при этом значение «Александрийского столпа» как центрального образа стихотворения. В общей композиции произведения — «Александрийский столп» играет, конечно, существенную роль, но, разумеется, не он определил пушкинский замысел в целом.[3]

Ряд самостоятельных наблюдений В. Ледницкого над текстом «Памятника» представляет интерес, но он извлекает из них тенденциозные выводы. Известно, например, что «Александровская колонна» проектировалась архитектором О. Монферраном по образцам колонны Траяна в Риме, а также воздвигнутой в 1806—1810 гг. в подражание ей «Вандомской колонны» (в честь Наполеона, на Вандомской площади в Париже), но превышает высотой и ту и другую, что

---

[1] Важнейшая литература об Александровской колонне перечислена в комментариях к обоим изданиям дневника Пушкина,—ленинградском (М.—П., 1932, стр. 208) и Московском (М., 1932, стр. 478), Укажем дополнительно на книги, изданные ее строителем: Aug. de Montferrand. Description de la colonne monumentale érigée à la mémoire d' Alexandre I, St. Petersbourg, 1834 и его же: Plan et détails du monument consacré à la mémoire de l'Empereur Alexandre I, Paris, 1836, (fol.), и основную из них большую статью «Александровская колонна» в «Энциклопедическом лексиконе», изд. А. Плюшара, т. I, СПБ., 1835, стр. 480.

[2] Пушкинский Петербург, ред. Б. В. Томашевского, Л. 1949, стр. 288, 313—314.

[3] Подобный упрощенный подход к «Памятнику» встречается, однако, и в советской литературе. Так, например, Л. А. Медерский (Архитектурный облик Пушкинского Петербурга, Л., 1949, стр. 34) пишет о Пушкине: «В стихотворении 1836 года поэт противопоставляет свой памятник—литературное наследие, которое он оставляет потомству,—Александровской колонне».

неоднократно отмечалось в русской печати 30-х годов.[1] Отсюда едва ли, однако, можно извлечь какой-либо вывод, кроме объяснения, почему Жуковский заменил в пушкинском стихе «Александрийский столп»—Наполеоновым: он имел в виду именно Вандомскую колонну (благодаря этой замене, слова поэта о его «непокорной» главе теряли свой одиозный по цензурным условиям смысл). Но для Пушкина сопоставление этих колонн едва ли могло при создании «Памятника» иметь какое-либо значение, в особенности в смысле оценки посмертной славы обоих властителей, в честь которых они были установлены; поэтому для объяснения возникновения «Памятника» совершенно бесполезно искать в творчестве Пушкина следы «романтического» культа Наполеона и противопоставлять его резко отрицательному отношению поэта к его «гонителю»—Александру I. Между тем, В. Ледницкий допускает, что Пушкин «мог знать» слова, якобы сказанные Александром I в апреле 1814 г., когда после занятия Парижа союзными войсками, с Вандомской колонны снята была статуя Наполеона: «Боюсь, что у меня кружилась бы голова, если бы меня поставили так высоко»,[2] приводит тут же длинную выдержу из рассуждения К. Н. Батюшкова (в письме к Н. И. Гнедичу от 27 марта 1814 г.), внушенного ему созерцанием Вандомской колонны во время пребывания в Париже (кстати сказать, очень отрицательного к «повергнутому кумиру»), прибегает к различным сопоставлениям отзывов Пушкина об Александре I различных лет, — упоминая даже «спицу», на которой сидел в сказке Золотой петушок,—все для того, чтобы подчеркнуть, что «Памятник» возник под впечатлением открытия Александровской колонны и крайне враждебного отношения поэта к славе покойного императора.

Идя по следам советских исследователей, В. Ледницкий уделил внимание той записи дневника Пушкина (от 28 ноября 1834 г.), в которой почти непосредственно после упоминания о «церемонии» открытия Александровской колонны, рассказано о споре поэта с ямщиками на калужской дороге по поводу другого памятника, открытого 25 июня 1834 г. в с. Тарутине, в 80 верстах от Москвы. «В Тарутине,—пишет Пушкин, пьяные ямщики чуть меня не убили. — Но я поставил на своем. — Какие мы разбойники? говорили мне они. Нам дана вольность, и поставлен столп нам в честь. Гр. Румянцева вообще не хвалят за его памятник — и уверяют, что

[1] Александровская колонна была тогда самой высокой в мире (47,5 м.). Колонна Траяна в Риме имела 44,5 м.,—Вандомская—46 м. В статье «Энциклопедического лексиона» исчисления приведены в футах. См. также монографию: Н. П. Никитин. Огюст Монферран. Проектирование и строительство Исаакиевского собора и Александровской колонны, Л., 1939, стр. 243—244.

[2] Н. К. Шильдер. Имп. Николай I, СПб, 1903, т. III, стр. 232.

церковь была бы приличнее. Я довольно с этим согласен. Церковь, а при ней школа, полезнее колонны с орлом и с длинной надписью, которую безграмотный мужик наш даже не разберет».[1] Комментаторы «Дневника» Пушкина разъяснили, что гр. С. П. Румянцев, которому принадлежало с. Тарутино, ходатайствовал, чтобы жившие здесь крестьяне были освобождены от крепостной зависимости, при условии, если они за свой счет воздвигнут памятник в честь битвы, одержанной здесь Кутузовым над войсками Наполеона в октябре 1812 г., что и было разрешено. Запись Пушкина о Тарутинском памятнике, который он несомненно видел собственными глазами, вступая в спор о нем с тарутинскими ямщиками, показалась Д. П. Якубовичу «подозрительно смежной» со стоящими почти рядом строками об Александровской колонне, и он высказал догадку, что Пушкин будто бы искусно «маскировал» свое суждение об Александровской колонне, с тайным умыслом рассказывая здесь же свое приключение с ямщиками.[2] Эта догадка вызвала критические замечания Б. В. Казанского, с нашей точки зрения совершенно справедливые. «Неужели Якубович серьезно думает, что Пушкин не решился бы в своем Дневнике написать открыто или хотя бы дать понять, что считает более полезным сооружение церкви и школы, чем памятника Александру I? — спрашивал Б. В. Казанский. — Не только в его Дневнике, но и в письмах (которые—он знал—часто перлюстрировались) имеются гораздо более резкие и опасные суждения. К тому же полный контекст опять таки дает совершенно отчетливый и откровенный смысл». По мнению Б. В. Казанского, забавный анекдот с ямщиками «и вызвал рассуждение Пушкина о сравнительной пользе памятника для безграмотных мужиков. Но Пушкин вряд ли принципиально полагал, что и в Петербурге лучше сооружать церкви, чем памятники. Конечно, он не мог сочувствовать сооружению памятника в честь Александра, которого он считал дурным царем и притом своим гонителем,—он выразил это в своем «Памятнике». Но здесь такого сопоставления фактически нет».[3] Вопреки этим возражениям Б. В. Казанского, вполне разъясняющим ход мыслей Пушкина, В. Ледницкий, однако, поддержал точку зрения Д. П. Якубовича и и его допущениям, отличающимся явными натяжками, добавил собственное наблюдение: ему кажется не случайным, что в своей дневниковой записи Пушкин

---

[1] Дневник А. С Пушкина с объяснительными примечаниями Б. Л. Модзалевского, М.—Л. 1923, стр. 21 и 208.

[2] Д. П. Якубович. Дневник Пушкина: в сб. «Пушкин. 1834 год»—изд. «Пушкинского общества», Л. 1934, стр. 20—49.

[3] Б. В. Казанский. Дневник Пушкина (По поводу интерпретации Д. П. Якубовича)—Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. I, М.—Л. 1936, стр. 277.

играет словами «колонна» и «столп»; впоследствии будто бы Пушкин вспомнил свою запись и применил слово «столп» к «Александрийской колонне».[1]

В такой догадке, однако, нет решительно никакой необходимости. В записи дневника Пушкина ямщики называют «столпом» Тарутинскую колонну: очевидно, для него это древнее слово, давно утратившее свою связь с церковно-славянской лексикой в общенародном русском языке, представлялось более уместным в словах ямщина, чем книжный варваризм недавнего происхождения («колонна»). С другой стороны, в русском литературном языке в пушкинское время слово «столп» звучало уже как архаическое, риторическое, отзывавшееся одической традицией XVIII века, и его нужно рассматривать в «Памятнике» в общей системе эмоционально приподнятой архаической лексики, с тонким артистическим расчетом, примененной поэтом в этом стихотворении; никакого пренебрежительного или иронического оттенка слово «столп» в «Памятнике» не имеет. Стилистическая многозначность слова «столп» была Пушкину отчетливо известна, и он пользовался словом неоднократно в произведениях разной стилистической структуры. В значении «памятника», «монумента» и в полном соответствии с «высокой» лексикой торжественных од XVIII в. Пушкин употребил его в стихотворении 1814 года «Воспоминание в Царском селе», имея в виду памятник в честь Кагульской победы:

Вокруг грозного столпа трикраты обвились...

В стихотворении 1829 года («Воспоминание в Царском селе») читаем:

...Ее любимые сады
Стоят, населены чертогами, вратами,
Столпами, башнями, кумирами богов,
И славой мраморной, и медными хвалами
Екатерининских орлов.

То же слово, но в значении, близком к общепотребительному фонетическому его варианту (столб), мы находим в «Евгении Онегине»:

---

[1] W. Lednicki, Bist of Table Talk... The Hague 1956, p. 91.

Пошел! Уже столпы заставы
Белеют. Вот уж по Тверской...[1]

(VII, 38).

Характеризуя русскую одическую поэзию XVIII в. Л. В. Пумпянский подчеркивал, что ее постоянными темами были «дворец, здание, столп, памятник статуя»; обращение Пушкина к этой тематике и широкое пользование им «архитектурным и статуарным словарем» Л. В. Пумпянский объяснял воздействием на Пушкина поэтики Державина: «Державин всегда любил архитектурный словарь, но около 1791—1795 гг. пирамиды, обелиски, столпы, чертоги, кумиры становятся положительно сигнатурой его образов. Традиция эта дошла до Пушкина и усвоена им».[2] К этому можно добавить, что при Пушкине еще было живым типичное для русской культуры XVIII века увлечение «памятными» и «триумфальными» столпами всякого рода,[3] — их продолжали устанавливать всюду; Пушкин, несомненно, видел множество подобных памятников и хорошо знал связанную с ними традиционную символику, объяснявшуюся в специальных русских печатных книгах еще с начала XVIII-го столетия.

В книге петровского времени «Символы и Емблемата» (1717) есть несколько гравированных картин, изображающих «столпы» с относящимися к ним краткими толкованиями на десяти языках; на одной из них изображена, например, колонна, а на ней корона: «Een kroon op en pulaar»; русская подпись гласит: «подперта честию»; в другом варианте — на

---

[1] П. Я. Черных. («Из наблюдений над языком «Памятника»— «Русский язык в школе» 1949, № 3, стр. 35) приводит эту цитату из «Евгения Онегина» в качестве примера употребления Пушкиным слова «столп» «в несколько сниженном» значении; отметим, что не только столбы «заставы», но и верстовые столбы вблизи столиц и больших городов, по своему архитектурному оформлению походили на «памятники»: они имели форму обелиска с широким четвероугольным основанием, а иногда увенчивались двуглавым орлом; такую форму они имели, например, между Петербургом и Царским селом. Другие примеры частого употребления слова «столп» в разных значениях см. Словарь языка Пушкина, т. IV, М. 1961, стр. 378.

[2] Л. В. Пумпянский. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века.—Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5, М.—Л., 1939, стр, 109—110; см, также С. Дурылин. Отражение архитектуры в поэзии Пушкина—«Архитектура СССР», 1937, № 3, стр. 33—37.

[3] Одним из ранних сооружений этого рода должен был быть так называемый «Триумфальный столп», намечавшийся к сооружению в Петербурге в 1720—1730-х годах в ознаменование славных побед русской армии и флота: на цилиндрах колонны предполагалось поместить барельефы с изображением знаменитых «баталий», а увенчать колонну должна была скульптура Петра I. Реконструкция этого «столпа» экспонирована в «Круглом зале» Гос. Эрмитажа в Ленинграде. (См. Гос. Эрмитаж. Русская культура XVIII века. М. 1955, стр. 23).

играет словами «колонна» и «столп»; впоследствии будто бы Пушкин вспомнил свою запись и применил слово «столп» к «Александрийской колонне».[1]

В такой догадке, однако, нет решительно никакой необходимости. В записи дневника Пушкина ямщики называют «столпом» Тарутинскую колонну: очевидно, для него это древнее слово, давно утратившее свою связь с церковно-славянской лексикой в общенародном русском языке, представлялось более уместным в словах ямщика, чем книжный варваризм недавнего происхождения («колонна»). С другой стороны, в русском литературном языке в пушкинское время слово «столп» звучало уже как архаическое, риторическое, отзывавшееся одической традицией XVIII века, и его нужно рассматривать в «Памятнике» в общей системе эмоционально приподнятой архаической лексики, с тонким артистическим расчетом, примененной поэтом в этом стихотворении; никакого пренебрежительного или иронического оттенка слово «столп» в «Памятнике» не имеет. Стилистическая многозначность слова «столп» была Пушкину отчетливо известна, и он пользовался словом неоднократно в произведениях разной стилистической структуры. В значении «памятника», «монумента» и в полном соответствии с «высокой» лексикой торжественных од XVIII в. Пушкин употребил его в стихотворении 1814 года «Воспоминание в Царском селе», имея в виду памятник в честь Кагульской победы:

Вокруг грозного столпа трикраты обвились...

В стихотворении 1829 года («Воспоминание в Царском селе») читаем:

...Ее любимые сады
Стоят, населены чертогами, вратами,
Столпами, башнями, кумирами богов,
И славой мраморной, и медными хвалами
Екатерининских орлов.

То же слово, но в значении, близком к общепотребительному фонетическому его варианту (столб), мы находим в «Евгение Онегине»:

---

[1] W. Lednicki, Bist of Table Talk... The Hague 1956, p. 91.

Пошел! Уже столпы заставы
Белеют. Вот уж по Тверской...[1]

(VII, 38).

Характеризуя русскую одическую поэзию XVIII в. Л. В. Пумпянский подчеркивал, что ее постоянными темами были «дворец, здание, столп, памятник статуя»; обращение Пушкина к этой тематике и широкое пользование им «архитектурным и статуарным словарем» Л. В. Пумпянский объяснял воздействием на Пушкина поэтики Державина: «Державин всегда любил архитектурный словарь, но около 1791—1795 гг. пирамиды, обелиски, столпы, чертоги, кумиры становятся положительно сигнатурой его образов. Традиция эта дошла до Пушкина и усвоена им».[2] К этому можно добавить, что при Пушкине еще было живым типичное для русской культуры XVIII века увлечение «памятными» и «триумфальными» столпами всякого рода,[3] — их продолжали устанавливать всюду; Пушкин, несомненно, видел множество подобных памятников и хорошо знал связанную с ними традиционную символику, объяснявшуюся в специальных русских печатных книгах еще с начала XVIII-го столетия.

В книге петровского времени «Символы и Емблемата» (1717) есть несколько гравированных картин, изображающих «столпы» с относящимися к ним краткими толкованиями на десяти языках; на одной из них изображена, например, колонна, а на ней корона: «Een kroon op en pulaar»; русская подпись гласит: «подперта честию»; в другом варианте — на

---

[1] П. Я. Черных. («Из наблюдений над языком «Памятника»— «Русский язык в школе» 1949, № 3, стр. 35) приводит эту цитату из «Евгения Онегина» в качестве примера употребления Пушкиным слова «столп» «в несколько сниженном» значении; отметим, что не только столбы «заставы», но и верстовые столбы вблизи столиц и больших городов, по своему архитектурному оформлению походили на «памятники»: они имели форму обелиска с широким четвероугольным основанием, а иногда увенчивались двуглавым орлом; такую форму они имели, например, между Петербургом и Царским селом. Другие примеры частого употребления слова «столп» в разных значениях см. Словарь языка Пушкина, т. IV, М. 1961, стр. 378.

[2] Л. В. Пумпянский. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века.—Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5, М.—Л., 1939, стр. 109—110; см. также С. Дурылин. Отражение архитектуры в поэзии Пушкина—«Архитектура СССР», 1937, № 3, стр. 33—37.

[3] Одним из ранних сооружений этого рода должен был быть так называемый «Триумфальный столп», намечавшийся к сооружению в Петербурге в 1720—1730-х годах в ознаменование славных побед русской армии и флота: на цилиндрах колонны предполагалось поместить барельефы с изображением знаменитых «баталий», а увенчать колонну должна была скульптура Петра I. Реконструкция этого «столпа» экспонирована в «Круглом зале» Гос. Эрмитажа в Ленинграде. (См. Гос. Эрмитаж. Русская культура XVIII века. М. 1955, стр. 23).

столпе разместилось увенчанное короной сердце.[1] Подобные изображения повторялись в XVIII веке много раз в учебных руководствах «емблематического» языка для художников и поэтов и постепенно утвердили традицию понимания «столпа» как эмблемы самодержавия. В 20-е годы декабристская трагедия переосмыслила этот символ, снизив одическое слово «столп» до просторечного «столба» и сочиняя эпиграммы и пародические «надписи» к картинкам, подобным вышеуказанным, где «столб» вместо ожидаемого «столпа» становился опорным словом издевки. Так, например, еще в конце 1819 г. в Петербурге была распространена эпиграмма, сочинение которой молва приписывала М. В. Милонову. Записавший ее в своем дневнике В. Н. Каразин отметил, что она «сделана на сенат или на вывеску гг. сенаторов в комиссии законов»:

Какой тут правды ждать
В святилище закона.
Закон прибит к столбу,
И на столбе корона.[2]

Известна эпиграмма и в другой редакции, в которой она долго приписывалась Пушкину:

В России нет закона.
В России — столб стоит,
А на столбе корона.[3]

Пользуясь тонким стилистическим различием между «столпом» и «столбом», современник Пушкина пародически снижали также устойчивое словосочетание «столп отечества». В. Ф. Раевский в сатирическом стихотворении 1817—1820 гг. писал:

И наши знатные отечества столбы
О Марсовых делах с восторгом рассуждают.[4]

«У нас столбы государства ни мало не заботятся о пользе России, а думают об интригах... Жаль бедную Россию»,— писал А. Закревский П. Киселеву 16 апреля 1829 г.[5]

В 30-е годы сатирическое переосмысление старой символики (монарх—столб) встречалось также во французских политических карикатурах,[6] и еще десятилетие спустя, на

---

[1] Символы и Емблемата, СПб, 1717, стр. 22—23 (№ 65); 158—159 (№ 470).

[2] В. Базанов. Вольное общество любителей Российской словесности. Петрозаводск, 1949, стр. 174.

[3] В. Виноградов. Проблема авторства и теория стилей, М. 1961, стр. 138.

[4] В. Г. Базанов. В. Ф. Раевский, Л. 1949, стр. 156; Пушкинский юбилейный сборник (Ульяновского гос. Педагогического института), Ульяновск, 1949, стр. 283; Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. II, М. 1951, стр. 356.

[5] Н. М. Дружинин. Государственные крестьяне в реформе П. Д. Киселева, т. I, М.—Л. 1946, стр. 84.

[6] Н. М. Калитина. Политическая карикатура Франции 30-х годов XIX в., Л. 1955, стр. 31.

допросе петрашевцев, одному из обвинявшихся, Ф. Г. Толю, следственная комиссия предлагала такой вопрос: «Известно по рассказу вашему, что профессор С.-Петербургского университета Порошин, разбирая характеристику памятников, сказал с университетской кафедры про Александровскую колонну, что это столб столба столбу. Сделайте об этом объяснение». Ф. Г. Толю пришлось поневоле уклониться от истолкования этих «дерзких» слов, смысл которых и так был совершенно ясен.[1]

Возможно, что и до Пушкина доходили подобные откровенные речи о «столпах» вообще и об Александровской колонне в частности,[2] но он, во всяком случае, знал о той подозрительности, с какой в бюрократических и цензурных сферах относились к всяким проявлениям неуважения или сочувствия к русским и зарубежным памятникам государственного значения и их «эмблематическому» смыслу. В 1832 году главное управление цензуры запретило статью «Обелиск», предназначенную для журнала «Северный Меркурий», так как в ней говорилось о памятнике, воздвигнутом неизвестно где и по неизвестному поводу: «Может быть,—писал в своем решении цензурный комитет,—сочинитель разумеет под оным какой-либо обелиск во Франции, в память последних переворотов; в таком случае статья подлежит запрещению на том

[1] Дело петрашевцев, т. II, М.—Л., 1941, стр. 193.

[2] В 1837 г. юный Владимир Философов, пылкий почитатель декабриста А. А. Бестужева, записал в своем дневнике при получении известия о его гибели: «...Я верю ,что рано или поздно кровь праведника возопиет о мщении... на развалинах самодержавной власти воздвигнется сильное и цветущее здание, и на месте Александровской колонны благодарное потомство воздвигнет памятник Бестужевым и другим жертвам 14-го числа» (А. Яцевич. Пушкинский Петербург, Л., 1935, стр. 161). Характерно, что среди ранних незрелых стихотворных опытов юноши И. С. Тургенева, сохранились патриотические вирши одического характера, посвященные открытию Александровской колонны и вероятно, связанные с чтением очерка В. А. Жуковского «Воспоминания о торжестве 30 августа» («Северная пчела» 1834, № 202, от 8 сентября):

Сей памятник огромный, горделивый
Благословенному поставлен был,
И Николая век счастливый
Собою сам ознаменил.

Из недра скал гранитных преогромных
Рукою мощной он исторгнут был,
Затем, чтоб Александра незабвенных
Он дел позднейшему потомству вспомянил и т. д.

(И. С. Тургенев. Сочинения, изд. АН СССР, т. I, М.—Л. 1960, стр. 321, 594). Однако, в конце 40-х годов И. С. Тургеневу была близка та самая игра значениями «столп» и «столб», к которой прибегали петрашевцы. В рассказе «Гамлет Щигровского уезда» герой говорит: «А! вот и архитектор сюда попал! Немец, а с усами и дела своего не знает—чудеса!.. А, впрочем, на что ему знать дело-то; лишь бы взятки брал, да колонн, столбов то есть побольше ставил для наших столбовых дворян».

основании, на каком начальство признало непозволительными стихи Казимира Делавиня».[1] Пушкину слишком хорошо была известна история с этими непозволительными стихами, так как она близко его коснулась. Речь идет о напечатанном в «Литературной газете» французском четверостишии К. Делавиня, предназначавшемся для памятника, который предполагалось воздвигнуть в Париже в память о жертвах июльской революции. Возникло громкое цензурное дело. Как известно, Дельвигу было запрещено издание «Литературной газеты», и он был вызван к Бенкендорфу для грубого начальственного окрика и угроз. А. И. Дельвиг записал в своих мемуарах, что будто бы Бенкендорф сказал при этом А. А. Дельвигу, что он «троих друзей: Дельвига, Пушкина и Вяземского уж упрячет, если не теперь, то вскоре, в Сибирь», и что вся эта история ускорила смерть поэта.[2]

Таким образом, предположения, что «Памятник» Пушкина возник из «чувствований», которые поэт питал к Александру I,[2] хотя и зашифрованных, что важнейшим поводом для создания стихотворения явилось будто бы его желание противопоставить славу своего имени и творческих деяний, которые он завещает потомкам, официальным славословиям и восхвалениям покойного императора по случаю торжественного открытия колонны в честь его,—весьма далеки от истины и отличаются явными преувеличениями. В частности, не может быть названа удачной и сколько нибудь убедительной попытка Ледницкого доказать, что скрытые намеки на Александра I могут быть обнаружены не только в первой строфе «Памятника», но и во всех остальных, не исключая и пятой, заключительной: исследователь произвольно и некритически комбинирует разновременные факты из жизни и творчества Пушкина, создавая из его стихотворных строк искусственные, призрачные построения, не имеющие никакой твердой опоры в действительности.

Таковы, например, представляемые В. Ледницким «новые аргументы» для понимания «скрытого смысла последнего четверостишия» «Памятника», о котором не догадывались ни современники Пушкина, ни его критики за целое столетие, протекшее со дня его смерти.[3] Едва ли кто либо серьезно решится утверждать, что в последнем стихе «Памятника» — «и не оспоривай глупца»—содержится намек на Александра I. Между тем В. Ледницкий его находит[4] и пытается вскрыть путем сопоставления этого стиха с рядом других — пушкинских и не-пушкинских — стихотворных строк и мемуарных

[1] Русская старина 1903, № 2, стр. 310.
[2] А. И. Дельвиг. Полвека русской жизни. Воспоминания, т. I, Л. 1930, стр. 155.
[3] W. Lednicki, стр. 94—95, 105.
[4] W. Lednicki, стр. 105.

свидетельств. Наиболее близкой параллелью к стиху «Памятника» о глупце В. Ледницкому представляется строки из стихотворного послания Пушкина к Н. И. Гнедичу (при письме из Кишинева от 24 марта 1821), в котором, сопоставляя свою судьбу изгнанника с участью Овидия и прозрачно называя своего гонителя «Октавием» (Августом), Пушкин признается:

Твой глас достиг уединенья,
Где я сокрылся от гоненья
Ханжи и гордого глупца.

Чтобы подтвердить, что в «Памятнике» идет речь не просто о «глупце», но именно о «царственном глупце», В. Ледницкий ссылается даже на лицейскую эпиграмму, если не принадлежащую Пушкину, то ему известную: «Двум А. П.» (Александрам Павловичам), построенную на сопоставлении царя с «лихим Зерновым», помощником гувернера в Царскосельском лицее, где имеются следующие слова:

Зернов! Хромаешь ты ногой,
Р/оманов/ головою.[1]

В. Ледницкому представляется заменательным даже то обстоятельство, что стих «И не оспоривай глупца», заключающий все стихотворение энергичной мужской рифмой, соотносится будто бы с аналогичным по своей метрической модуляции заключительным стихом первой строфы — «Александрийского столпа» (concurs with the metrical cadence of Aleksandrijskogo stolpa), и что, кстати сказать, слово «столп» (столб) на псковском наречии означает «дурака».[2] Все это, конечно, чистая фантастика, как и попутное указание В. Ледницкого, что в стихотворении Пушкина «К Овидию» (1821) находятся мотивы, общие с «Памятником».[3]

---

[1] См. статьи Н. В. Измайлова «Политическая эпиграмма лицейской эпохи» (Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова, М.—П. 1923, стр. 13—23) и «Новый сборник лицейских стихотворений» (Сборник Пушкинского дома на 1923 год, Пб. 1922, стр. 75).

Ссылка В. Ледницкого на «Толковый словарь» В. Даля (СПб. 1903, т. IV, стр. 544) с мотивировкой, что «Пушкин, который провел столько времени в Михайловском и, как мы знаем, изучал местное народное наречие, безусловно знал псковское столб—дурак», основано на простом недоразумении. В авторском издании «Толкового словаря» этого слова нет; оно внесено в изд. 1903 г. его редактором, скорее всего по аналогии со словом «остолоп» (встречающимся у Пушкина только в форме собственного имени); во втором издании «Толкового словаря» (1882), «исправленным и значительно умноженным по рукописи автора» приводятся лишь в качестве псковских диалектальных слов «столпень, столпенюк, столпенюга» (т. IV, стр. 328), которые имеют столь же малое отношение к «столпу» пушкинского «Памятника», как и «столб».

[3] W. Lednicki, стр. 101. Достаточно напомнить, что в этом стихотворении, противопоставляя себя Овидию и говоря о его громкой славе, Пушкин писал о себе:

Увы, среди толпы затерянный певец,
Безвестен буду я для новых поколений,
И жертва темная, умрет мой слабый гений
С печальной жизнию, с минутною молвой...

Для спасения своей рискованной гипотезы В. Ледницкий пытается поддержать также старую, давно отброшенную догадку П. О. Морозова, утверждавшего, что в стихе «и чувства добрые я лирой пробуждал» Пушкин вспомнил слова, которые Александр I поручил передать поэту после прочтения его «Деревни», — благодарность «за добрые чувства, внушенные его поэзией» (pour les bons sentiments que ses vers inspirent»)[1] М. А. Цявловский в специальной статье разъяснил происхождение этого анекдота, «изложенного в печати не один раз и несколькими лицами», и установил, между прочим, что ни в одной версии слова государя, сказанные Васильчикову, не являются текстуально близкими к пушкинскому стиху (речь шла не о «добрых чувствах, а о «nobles sentiments» или о «tous sentiments»).[2]

Сопоставление отдельных строк или даже слов «Памятника» с наудачу выбранными строками из ранней политической лирики Пушкина смещают историческую перспективу и зачеркивают вопрос об эволюции его политических воззрений. «Комментаторская традиция, связывающая строки о Радищеве в «Памятнике» с одою «Вольность», представляется нам совершенно несостоятельной», — пишет Ю. Г. Оксман, весьма энергично подчеркивая, что в 1936 году Пушкин не мог придавать значения своим юношеским нелегальным одам, и что «с проблематикой крестьянской революции, определившей литературно-политическое значение «Путешествия из Петербурга в Москву», как вехи в истории русской национально-демократической культуры, связываются не «Вольность» и не «Деревня», а «История Пугачева» и «Капитанская дочка». Именно в этих своих произведениях Пушкин пошел «вослед Радищеву»... «Для своего «Современника» Пушкин готовит в 1836 г. статьи о Радищеве и повесть о Пугачеве. Проблематику именно этих своих статей Пушкин и имеет в виду, отмечая в начальной редакции «Памятника», написанной вскоре после окончания «Капитанской дочки» свои права на признательное внимание потомков:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милость к падшим призывал».[3]

По тем же основаниям исторической ошибкой является всякая попытка усматривать в «Памятнике» якобы искусно

---

[1] Пушкин, сборник первый, ред. Н. К. Пиксанова, М., 1924, стр. 51, прим.

[2] М. А. Цявловский. Представление «Деревни» Пушкина Александру I.—сб. Пушкин. Исследования и материалы, т. II, М.—Л. 1958, стр. 382—384.

[3] Ю. Г. Оксман. Проблематика «Истории Пугачева» Пушкина в свете «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. «Научный ежегодник» Саратовского гос. университета, Саратов, 1955, стр. 154.

скрытые поэтом намеки на Александра I, и только на него одного. «Памятник» создан в условиях, резко отличных от тех, в которых прошла мятежная юность поэта; впечатления от Александра I были заслонены более близкими и гораздо более сложными отношениями поэта с другим «венценосцем», да и сам поэт был другим человеком, умудренным опытом жизни и более зрело прозревавшим в будущее. Именно это В. Ледницкий и упустил из виду.

Впрочем В. Ледницкий делает одну оговорку. «Памятник», — говорит он, — «сосредоточен вокруг двух тем. Одна из них, это тема Ювенала и Горация: неистребимая слава поэта. ...С этой точки зрения, «Памятник» относится к пушкинской ars poetica, — к целому ряду стихотворений, в которых Пушкин выразил свои взгляды на поэта и поэию».[1] Это замечание дает исследователю повод еще раз, идя по следам старых русских исследователей и А. Грегуара, пересмотреть вопрос об отношении «Памятника» к его литературным образцам — Горацию и Державину. Необходимо однако, подчеркнуть, что и в этом вопросе, занимающем подчиненное положение в его общем истолковании произведения Пушкина, В. Ледницкий допустил ненужные гипотезы, отвлекающие читателя от правильного пути, по которому необходимо было следовать: тем не менее, некоторые из его догадок нашли сторонников среди зарубежных ученых.

Уже А. Грегуар, в упомянутой выше статье о Горации и Пушкине, характеризуя соотношения, в которых находится между собой стихотворение Пушкина, «Памятник» Державина и «Exegi monumentum» Горация, обращал внимание на то, что Пушкин в ряде стихов ближе следует Горацию, чем Державину, и с полным основанием усматривал в этом свидетельство непосредственного знакомства Пушкина с латинским текстом оды «К Мельпомене». По поводу третьей строфы Пушкина («Слух обо мне пройдет по всей Руси великой») Грегуар замечал, что хотя она явно навеяна Державиным, но Пушкин перечисляет народы, которые будут повторять его имя, тогда как Державин просто говорит о «народах неисчетных».[2] В дополнение к этому замечанию бельгийского филолога и следуя давней русской комментаторской традиции, В. Ледницкий напомнил о другой оде Державина — «Лебедь» (1804), также восходящей к Горацию (II, 20), в

---

[1] W. Lednicki, стр. 97.

[2] A. Gregoire, Horace et Pouchkine, стр. 528. Не имевший возможности пользоваться транскрипцией рукописей Пушкина, А. Грегуар не знал, что Пушкин написал первоначально «Слух пройдет обо мне», как я Державина, но затем изменил это полустишие из-за архаической их акцентуации; самый же перечень территорий у Державина построен по «гидрографическому» принципу Горация:

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифеля льет Урал..,

которой пределы славы поэта обозначены в русской географической номенклатуре и дается перечень самых народов:

С Курильских островов до Буга,
От Белых до Каспийских вод,
Народы, света с полукруга,
Составившие россов род,
Со временем о мне узнают:
Славяне, гунны, скифы, чудь...

Это и могло вдохновить Пушкина на аналогичное перечисление, но вместо архаических наименований Державина, он перечислил реальные народы, известные в его время, воспользовавшись тем же принципом протяженности их на огромной территории и удаленности друг от друга по русской географической карте.[1] Что касается «руссификации» горацианского перечня (litora Bospori Syrtesque... Rhodanique potor), то Державин имел предшественников. Тот же прием, как указывает В. Ледницкий, — встречается у польского поэта-гуманиста XVI в. Яна Кохановского, одна из «песен» которого, XXIV песня 1-ой книги (первое изд. в Кракове в 1586 г.), созданная в подражание той же оде Горация (II, 20), дает аналогичный перечень, с модернизованными географическими наименованиями, в соответствии с горизонтами его времени. Представляя себя, подобно Горацию, в виде лебедя, в которого он превратится после смерти, парящего над необозримыми просторами, Кохановский пишет:

Я берег навещу шумящего Босфора,
Я навещу поля, где власть снегов жива;
Узнают обо мне татары и Москва
И житель Англии, тот сын иного света,
Испанец иль тевтон, и люди, что у ног
Своих из Тибра пьют глубоких струй поток...[2]

В. Ледницкий не утверждает, что Державин или Пушкин знали эту «песню» Я. Кохановского, — он не располагает никакими свидетельствами по этому поводу, — но все же обращает внимание на существующее якобы сходство между утверждением Державина в его «Памятнике» —

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить...

и стихами Кохановского из «Вступления» к его «Псалмам Давида» (которое перевел еще Семен Полоцкий, вдохновлявшийся и самыми «Псалмами» Кохановского для своей «Рифмотворной Псалтыри»):

---

[1] W. Lednicki, стр. 103—104.

[2] W. Lednicki, стр. 104. Цитирую по русскому переводу С. Свяцкого в кн. Ян Кохановский. Избранные произведения. Издание подготовил С. С. Советов (Лит. памятники), М—Л., 1960, стр. 77.

Я стал соперничать с известными певцами,
И я достиг скалы прекрасной Каллиопы,
Где польских пришлецов еще не знали тропы.[1]

Все эти сопоставления основаны на явном недоразумении, потому что они не учитывают судьбу лирики Горация в европейских литературах XVI—XIX веков, в том числе и в русской, как до, так и после Державина. Широко известно, что именно те оды Горация (II, 20, III, 30), которым подражали и Кохановский, и Державин, отозвались также во множестве других произведений на всех европейских языках. «Общим местом» поэзии французской, английской, немецкой со времен Возрождения сделался также географический и этнографический перечень народов и стран, который вдохновенно объявляет поэт, прорицающий о своей будущей славе. В. Ледницкий в дополнение к Кохановскому, в примечании, мимоходом, вспомнил только о Ронсаре[2] с его «Одой по случаю возвращения из Гаскони», где, задумываясь о будущих ценителях своих стихов, Ронсар называет Испанию, Италию и те земли, «в которых пьют из Рейна и Темзы»,[3] но еще более близкие параллели к аналогичному мотиву у Кохановского можно было бы извлечь, оставаясь в пределах той же эпохи Возрождения, из произведений Иоахима дю Белле и других поэтов «Плеяды».[4] Позднее, такие же сплавы горацианских мотивов, в которых то ярче, то менее явственно проявляются «местные» национальные краски, в изобилии можно найти у французских и немецких поэтов XVII—XVIII вв., притом с устойчивой мотивировкой: «я первый в своей стране» и т. д. (вариации в определении самой заслуги разнообразны, то приближаясь к формуле Горация, то отдаляясь от нее). Поэтому стих Державина «Что первый я дерзнул в забавном русском слоге...» опирается на внушительную европейскую поэтическую традицию; это совершенно обесценивает параллельную цитату из «Вступления» к «Псалмам» Кохановского, да и все рассуждение В. Ледницкого о Кохановском как о «предшественнике» Державина и Пушкина.

Однако, прославленный польский поэт оказался существенным В. Ледницкому для другой цели. В «Приложении» к своей статье, резюмируя обсуждения, которым подверглась его статья после первой ее публикации в «Harvard Slavic Studies», В. Ледницкий возвратился к основному тезису своей работы — о том определяющем значении которое имела для Пуш-

---

[1] W. Lednick, стр. 104; Ян Кохановский, Избранные произведения, стр. 109.

[2] W. Lednicki, стр. 104.

[3] Ed. Stemplinger. Das Fortleben der Horazischen Lyrik seit der Renaissance, Leipzig, 1906, стр. 286—287.

[4] Ed. Stemplinger. Das Fortleben, стр. 286; подробнее в его же статье: «Du Bellay und Horaz».—«Archiv für das Studium d. neueren Sprachen und Literaturen» 1904, стр. 80 и сл.

кина при создании «Памятника» Александровская колонна. Еще раз обращая внимание на пушкинские стихи

И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и фин, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степной калмык,

В. Ледницкий пытается глубже вдуматься в этот этнографический перечень. По его мнению, намерение Пушкина при выборе наименований народов для этого перечня заключалось, прежде всего, в том, чтобы очертить дальние пределы всех четырех климатов или географических зон современной ему России — Запад (гордый внук славян). Север (финн), Восток (тунгуз) и Юг (калмык), и что следуя этой схеме, под «гордым внуком славян» следует понимать поляка.[1]

Было бы чрезвычайно затруднительно привести достаточные основания для подтверждения этой догадки, наталкивающейся на многочисленные противоречия. В. Ледницкому известно лишь одно, весьма правдоподобное предположение, почему в перечень попал эвенк или «тунгуз» — по тогдашнему словоупотреблению. Ю. Н. Тынянов уже давно указал на то, что это явилось следствием письма, полученного Пушкиным от В. К. Кюхельбекера из Баргузина (в Забайкалье) от 12 февраля 1836 г., в котором Кюхельбекер «много толкует о бурятах и тунгусах, романтически останавливаясь на дикости последних»; но Пушкин, — замечает далее Ю. Н. Тынянов, — «вносит поправку в первоначальные впечатления Кюхельбекера: он пишет «ныне дикой» и говорит о будущем развитии».[2] Относительно же других народов, стоящих в том же списке, аналогичные догадки не высказывались, да и едва ли могли быть предложены; обследование черновика третьей строфы «Памятника», произведенное Д. П. Якубовичем, подтвердило лишь колебания Пушкина в выборе этих наименований: в вариантах зачеркнутых строк фигурировали первоначально также народы Кавказа, затем исчезнувшие из окончательного текста, скорее всего по соображениям метрическим или эвфоническим.[3] Ранее Е. И. Борический в своем «опыте толкования» «Памятника» утверждал, что будто бы «в этом перечислении поэт делает особое удаление на народах, не причастных еще к культуре. Он надеется, что в грядущий час своего культурного пробуждения они узнают и произнесут его имя».[4] Если принять это обобщение, то из списка

---

[1] W. Lednicki, стр. 107—108. Эта догадка, как указывает Ледницкий, принадлежит П. А. Будбергу, принимавшему участие в обсуждении его статьи.

[2] Ю. Н. Тынянов. В. К. Кюхельбекер, в кн. В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т. I, Л., 1939, стр. LXXIV—LXXV.

[3] Д. П. Якубович. Черновой автограф трех строф «Памятника». Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Вып. 3, стр. 7.

[4] —«Записки Белорусского гос. университета, 1925, кн. VI—VII, стр. 46.

придется исключить «гордого внука славян», как бы мы не пытались его истолковать. Напомним, наконец, что «гордый славянин» назван в отрывках из «Путешествия Онегина» при описании Одессы и южной разноплеменной толпы на ее улицах, где все «пестреет разообразностью живой»:

Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдован тяжелый...

В этом контексте под «гордым славянином» Пушкин имел в виду, конечно, не поляков, но представителей южного славянства, — соотечественников Амалии Ризнич — в географической терминалогии поэта, впрочем, относившихся к западной, а не южной ветви славян (ср. «Песни западных славян»). Тайное намерение поэта, которое пытается разгадать В. Ледницкий, представляется нам более простым и естественным. Не забудем, что Пушкин говорит о «всей Руси великой», мечтая о том времени, когда каждый из народов, живущий на относящейся к ней государственной территории («всяк сущий в ней язык»), назовет его имя; было бы поистине странно считать, что задумываясь о грядущей славе своей на родине, Пушкин мог не упомянуть о русском народе и о своих будущих русских читателях, как о таких «провещенных потомках», которые станут гордиться его именем прежде других, разноплеменных. Едва ли подлежит сомнению, что именно ближайшие поколения русских ценителей своей поэзии Пушкин и имеет в виду, говоря о «гордом внуке славян», стоящем на первом месте в ряду названных им народов. Напрасно было бы искать в этом перечне какую-либо особую таинственную закономерность или скрытый умысел, помимо того явного, какой есть в нем в действительности — дать краткую, поэтически обобщенную характеристику просторов родной земли, во все дальние концы которой, к многоплеменным народам различного культурного уровня донесется «слух» о русском поэте. Современники Пушкина не могли понять его иначе. «Этнографизм» и широта историко-географических горизонтов составляла приметную особенность не только творчества Пушкина, но и русской литературы его времени: географические и этнографические «обозрения» нередко делались тогда и в прозе и в стихах, составляя традиционную тему; закономерность сопоставлений этого рода для этого рода для поэтов-романтиков пытался обосновать, например, О. Сомов, ссылаясь на особую «живописность» разнообразных национально-этнографических материалов, которые могут быть доступны заинтересованному наблюдателю: «Сколько разных обликов, нравов и обычаев представляются испытующему взору в одном объеме России совокупной!» —

восклицает он. «Не говоря уже о собственно русских», он, следуя географической карте, называет народы, достойные внимания поэтов: «...окинем взором края России, обитаемые поляками и литовцами, народами финского и скандинавского происхождения, обитателями древней Колхиды, потомками переселенцев, видевших изгнание Овидия, остатками походов грозных России татар, многоразличными племенами Сибири и островов, кочующими поколениями монгольцев, буйными жителями Кавказа, северными лапонцами и самоедами».[1] Отсюда естественна также мысль, что поэт, увидевший их и отразивший их разноплеменную жизнь в своем творчестве, имеет также права на признание их потомками.

Поэтому, с нашей точки зрения, едва ли у В. Ледницкого была необходимость, для обоснования сомнительной догадки, что под «гордым внуком славян» Пушкин будто бы имел в виду представителя польского народа, возвращаться вновь к Александровской колонне и высказывать еще одну, столь же шаткую гипотезу относительно существующей якобы связи между последними строфами «Памятника» Пушкина и теми барельефами, которые помещены на пьедестале этой колонны.

Основанием для этой гипотезы явилось то обстоятельство, что на этих барельефах, между прочим, изображены аллегорические фигуры двух «польских рек», — Немана и Вислы. Правда, В. Ледницкий сожалел, что для него остались недоступны описания этих барельефов, принадлежащие О. Монферрану, по рисункам которого они и выполнялись, и что ему пришлось воспользоваться поздними и недостаточно подробными описаниями их, приведенными в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза-Ефрона (СПб., 1890, 1, стр. 381).[2] Однако, обращение к собственным пояснениям О. Монферрана не улучшает дело, поскольку связь стихов Пушкина с сюжетами этих барельефов остается все же более чем проблематической.

Всех барельефов — четыре и композиция их состоит из аллегорических фигур и воинских доспехов. На стороне пьедестала, обращенной к Зимнему дворцу, в верхней части барельефа помещены две летящие женские фигуры; внизу в красивых орнаментальных сочетаниях расположено вперемежку римское и русское оружие, по свидетельству Монферрана — «в самых точных снимках с тех образцов, которые хранятся в Оружейной палате»: среди них, например, выделяются шлем Александра Невского, броня царя Алексея Михайловича, шлем Ермака и даже щит Олега; «прибитый им к

[1] Орест Сомов. О романтической поэзии. Опыт в трех статьях, СПб., 1823, стр. 86.

[2] W. Lednicki, стр. 108.

стенам Царьграда» (!).[1] Таким образом, это — доспехи русской воинской славы, исторические воспоминания о походах и знаменитых победах русского оружия. «Справа и слева от воинских доспехов полулежат две фигуры: справа — Неман, в виде старика-водолея и слева — Висла в изображении молодой женщины, облокотившейся на урну, из которой льется вода».[2] Это — воспоминание уже недавнего времени о заграничных походах русских армий Александра I 1812—1814 гг., которым, по естественным причинам, уделяется особое внимание в остальных барельефах. Никакого другого аллегорического смысла фигуры Немана и Вислы в себе не заключают и было бы безнадежным делом ставить их в какую либо связь с теми или другими стихами пушкинского «Памятника». Между тем, В. Ледницкий в заключение цитирует надпись, украшающую колонну: «Александру I — благодарная Россия», и замечает: «На это поэт ответил: Слух обо мне пройдет по всей Руси великой».[3]

Все эти построения представляются нам искусственными, натянутыми и тенденциозными; тем не менее они привлекли к себе внимание зарубежных исследователей, соглашавшихся с отдельными положениями В. Ледницкого и пытавшихся дополнить его разыскания новыми данными. Так, Р.-Д. Кейль, в недавней работе о «Памятнике» сделал ряд дополнительных замечаний о статье В. Ледницкого и, в частности, высказал предположение, не имела ли для Пушкина некоторое значение та ода на польском языке, посвященная Александровской колонне, которая издана была в Петербурге в 1834 г.;[4] об этой оде известно, что она была приобретена Пушкиным, находилась в его библиотеке, а затем исчезла оттуда:[5] экземпляра этой оды в настоящее время нет ни в одной крупной библиотеке Западной Европы и США. Мне удалось разыскать эту оду в богатейшем собрании «россики» Гос. Публичной библиотеки в Ленинграде.[6] Она имеет французское заглавие и состоит из 15 страниц параллельного польского (стихотворного) и французского (прозаического) текста. Содержание оды, однако, не оправдывает возлагавшихся на нее ожиданий. Это традиционные верноподданнические вирши, полные реторики, патетических возгласов и

---

[1] Н. П. Никитин. Огюст Монферран. Проектирование и строительство Исаакиевского собора и Александровской колонны, Л., 1939, стр. 254.

[2] Н. П. Никитин. Там же, стр. 254—255.

[3] W. Lednicki, стр. 108.

[4] Rolf-Dietrich Keil. Zur Deutung von Puskins «Pamjatnik»—«Die Welt der Slaven (Wiesbaden), 1961, Jhg. VI, H. 2, стр. 178—179.

[5] Л. Модзалевский. «Библиотека Пушкина. Новые материалы. «Литературное наследство» 1934, № 16—18, стр. 1017 (№ 165).

[6] Ode sur la colonne colossale élevée à l'Empereur Alexandre I. St. Petersburg. Le, 30 Aout 1834 (Imprimérie de C. Wienhuber; цензурн. разрешение 29 августа 1834 г.).

гипербол. Анонимный польский поэт все время играет на тождестве имен русского императора и македонского властителя и на противопоставлении их воинских целей: античному завоевателю противопоставлен русский «освободитель Европы» и «миротворец». Единственная деталь в тексте этой оды, которую, может быть, стоит отметить, находится в ее заключительных стихах: одописец утверждает, что якобы только у славян колонны являются символом великого идеала человечества; поэтому, — восклицает он — пусть эта эмблема останется в сердцах как предвестие грядущей счастливой судьбы славянского мира:

Ideal czynów — dla S'l o w i a n kolosem —
Kolos niech wstapi w obudzone dusze —
Niech dni odnacza nayswietnieyszym losem—
Wielkósc niech wstapi w wielkie geniusze.

Slowiánska ziemiol gornieys wywyzczona
— W swiatle i sile bogactwie i slawie, —
Tym przewodnikiem z obloki zetkniona —
Przyklady stawisz p o l u d n i a, na jawie.

6.

Опыт пересмотра ряда проблем, связанных с изучением «Памятника» Пушкина представил гамбургский исследователь — Рольф-Дитрих Кейль.[1] Литература о Пушкине, в том числе и на русском языке, известна ему довольно хорошо, хотя от него и ускользнул ряд советских исследований, преимущественно последней четверти века. Основная задача, которую он поставил перед собой, заключалась в том, чтобы попытаться еще раз, исходя из предшествующих исследований, определить, какое место занимает «Памятник» в системе эстетических воззрений Пушкина, среди других его поэтических деклараций на темы о назначении поэта, о месте и роли поэта в общественной жизни. Характерно, что Кейль не без сочувствия вспомнил о рассуждениях М. О. Гершензона по поводу «Памятника» в «Мудрости Пушкина», — не нашедших, по его словам, признания ни у советских пушкиноведов, ни за рубежом[2] и нуждающихся еще в дальнейшей критической проверке, но тут же высказал свои возражения против его истолкования «Памятника», чтобы подчеркнуть, что он не считает их бесспорными. М. Гершензон, по мнению Кейля, исходит из неверного положения, что эстетические взгляды Пушкина не претерпевали никаких существенных

[1] R o l f-D i e t r i c h K e i l. Zur Deutung von Puskins «Pamjatnik»—Die Welt der Slàven» 1961, Jhg. VI, H. 2, стр. 174—220.

[2] Интерпретация «Памятника» М. О. Гершензоном показалась убедительной лишь одному Д. С. Мирскому (см. D. S. M i r s k y. Puskin, Londen, 1926, стр. 215 и 238).

изменений в 20—30-ые годы; поэтому, сближение «Памятника» с такими «программными» стихотворениями Пушкина как, например, «Поэт и толпа» (1828) представляются ему уязвимыми. Оба этих стихотворения выросли из разных намерений, в своей собственной сфере личных чувствований поэта; отсюда даже одни и те же слова в этих стихотворениях имеют свой, специфический смысл и не могут быть сближаемы как равнозначные; так, например, в слове «народ» Пушкин в обоих случаях вкладывает особое содержание; «народ непосвященный», «хладный и надменный», который «бессмысленно» внимает поэту (см. Поэт и толпа») ничего не может пояснить нам в стихе —

К нему не заростет народная тропа,

в котором трудно было бы усмотреть оттенок иронии или резиньяции.[1]

Рискованные гипотезы В. Ледницкого также не получили полного признания у Кейля, хотя он и пытался воспользоваться отдельными его наблюдениями и дополнить из собственными.[2] Наибольшее сочувствие Кейля вызвала статья А. Грегуара «Гораций и Пушкин», некоторые положения которой получили у него дальнейшее развитие. Со многими из его выводов согласиться трудно, в частности, с его толкованием «религиозного» смысла основной идеи «Памятника», якобы определяющей всю структуру стихотворения, с догадкой что «Памятник» будто бы задуман был поэтом как одно из стихотворений из цикла «Подражания древним» и т. д. Тем не менее, отдельные соображения Кейля, заслуживают внимания и могут быть учтены в пушкиноведении после их тщательной критической проверки.

Сильной стороной работы Кейля явился произведенный им пересмотр традиционного вопроса о соотношении между «Памятником» Пушкина, одой Горация «К Мельпомене» (III, 30) и другими подражаниями этой оде в русской и западноевропейской поэзии.

Публикуя результаты своего прочтения черновика трех последних строф «Памятника» Д. П. Якубович писал, что «смысл Памятника Пушкина в целом может быть уяснен до конца только раскрытием пушкинского отношения к сюжету, лучшие осуществления которого великими мастерами-предшественниками на разных исторических этапах Пушкин прекрасно знал. Только на этом фоне может быть понято великое своеобразие, приданное Пушкиным древней теме, новая ступень, на которую он эту тему поднял, сделав ее близ-

[1] Keil, стр. 175.

[2] Так, например, Р. Д. Кейль считает, что в стихах «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа» Пушкин намекает на увенчивающего колонну бронзового ангела, лицу которого скульптор постарался придать черты Александра I (стр. 194).

кой и нашей эпохе».[1] Сам Д. П. Якубович указал (в сноске к цитированному месту), что он предполагал посвятить этому вопросу особую работу; однако, она осталась незавершенной и ненапечатанной; в посмертной статье Д. П. Якубовича «Античность в творчестве Пушкина» подробно говорится об отношении Пушкина к Горацию в ранний период его творчества;[2] ненаписанными остались, однако, те главы, которые должны были содержать анализ антологической лирики 30-х годов, в том числе и «Памятника» в соотношении с его античным образцом. В то же время вопрос этот продолжал обсуждаться в ряде статей, посвященных Горацию, Державину, Пушкину и античности и т. д., но отдельные интересные наблюдения не были сведены в цельную картину. В известной мере ее восполняют данные, собранные и систематизированные Кейлем, справедливо заметившим, что хотя в старой и новой русской литературе о Пушкине сопоставления «Памятника» с одами Горация и Державина делаются постоянно, но что они имеют в виду, главным образом, четвертую строфу стихотворения и сближают в этих произведениях разрозненные мысли, не учитывая их функционального значения в структуре целого каждого из этих стихотворений.[3]

Вопрос о непосредственном знакомстве Пушкина с лирикой Горация может считаться выясненным в нашей литературе в значительной мере. Уже Д. П. Якубович подчеркнул что «из всех поэтов античности Гораций занимает в течение всей жизни Пушкина первое место по количеству обращений к нему. Не может сравниться с ним даже Овидий, хотя он и имел для Пушкина большее значение. Но большинство обращений к Горацию не свидетельствуют о глубине. Только в двух случаях за всю жизнь Пушкин близко соприкоснулся с стихотворной тканью и образами самых стихов Горация. Это перевод оды к Меценату и перевод оды к Помпею Вару. Сюда же относится и обновление темы оды «К Мельпомене» («Я памятник...). Во всех остальных случаях возможно подозревать только чисто внешнее обращение Пушкина к венузийскому лирику — все это может быть только цитаты (вдобавок, преимущественно первых или близких к началу стихов) Горациевых од, возможно просто сохранившихся в памяти от лицейской учебы, как наиболее четкие и красочные формулы».[4] Добавим, что даже в случаях наибольшего приближения Пушкина к подлинному тексту Горация, Пушкин не проявил себя как знаток и комментатор латинского текста:

---

[1] Д. П. Якубович. Черновой автограф трех последних строф «Памятника» Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 3, М.—Л., 1937, стр. 5.

[2] Д. П. Якубович. Античность в творчестве Пушкина. Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 6, М.—Л., 1941, стр. 159.

[3] R.-D. Keil, стр. 175—176.

[4] Д. П. Якубович. Античность в творчестве Пушкина, стр. 110.

эпиграф, выписанный из Горация (или, скорее приведенный по памяти) в «беловом» тексте «Памятника» — заключает в себе ошибку: exigi вместо exegi (monumentum); та же цитата в наброске последней строфы 2-ой главы «Евгения Онегина» дана без этой описки, но неверно акцентирована:

Быть может, этот стих небрежный
Переживет мой век мятежный.
Могу ль воскликнуть, о друзья
Exegi monumentum я.
(вар. Воздвигнул памятник и я).

Все это подчеркивает необходимость установить, не имело ли для Пушкина при создании «Памятника» значение какое либо посредствующее звено, связывавшее его со стихотворением Горация, — больше, чем подлинный латинский текст. Таким звеном считается обычно «Памятник» Державина, текстуальная близость которого к стихам Пушкина не подлежит спору, но Кейль, идя по стопам советских исследователей, привлекает к сопоставлению многие другие русские подражания указанной оде Горация, которые могли быть известны Пушкину и запомниться ему.

Р. Д. Кейль останавливается, например, на одном из первых русских переводов оды «К Мельпомене», сделанным М. В. Ломоносовым:

Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.
Не вовсе я умру; но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю.
Я буду возрастать повсюду славой,
Пока великий Рим владеет светом и т. д.

Как известно, Ломоносов включил этот перевод в свою «Риторику», где он помещен в главе III («О расположении по силлогизму» § 268), в качестве примера «неполного силлогизма или энтимемы». Ломоносов допустил некоторые сознательные отклонения от подлинника, ставшие, однако, традиционными в русском восприятии этой оды Горация, благодаря широкой и долголетней популярности «Риторики» как учебного пособия.[1] В особенности заметны эти отклонения в последних стихах, где «Муза», заместившая Мельпомену Горация, представлена уже не богиней, увенчивающей главу поэта за заслуги перед ней, но служит просто символом поэтического творчества:

[1] М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, т. 7, М.—Л., 1952, стр. 313—315; т. 8, М.—Л., 1959, стр. 184. См. также П. Н. Берков. Ранние русские переводчики Горация. Известия АН СССР, Отд. обществ. наук, 1935, № 10, стр. 1039—1056; Г. М. Коровин. Библиотека Ломоносова, М.—Л., 1961, стр. 328—329.

Взгордися праведной заслугой, муза,
И увенчай главу дельфийским лавром.[1]

Не подлежит сомнению, что именно этот перевод Ломоносова был в памяти Радищева, когда он писал свое «Слово о Ломоносове», помещенное в конце его «Путешествия из Петербурга в Москву». Б. С. Мейлах сделал попытку связать Пушкинский «Памятник» именно с этой надгробной похвалой Радищева Ломоносову.[2] «В литературе, посвященной пушкинскому «Памятнику», — пишет Б. С. Мейлах, — не было отмечено, что все это стихотворение является своеобразным итогом творческого пути Пушкина в свете именно тех критериев, которые были выдвинуты Радищевым в следующих словах» (приводятся цитаты из «Слова о Ломоносове», но с выпусками, которые мы восполняем): «Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень с иссечением имени твоего перенесет славу твою в будущие столетия. Слово твое, живущее присно и во веки в творениях твоих, слово российского племени, тобою в языке нашем обновленное, перелетит в устах народных за необозримый горизонт столетий. Пускай стихии, свирепствуя сложенно, развернут земную хлябь и поглотят великолепный сей град, откуда громкое твое пение раздавалось во все концы обирныя России; пускай яростный некий завоеватель истребит даже имя любезного твоего отечества: но доколе слово российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Нет, не хладный камень сей повествует, что ты жил на славу имени российского, не может он сказать, что ты был. Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, на что ты славен... Сие изрекя в восторге, остановясь перед столпом, над тлением Ломоносова воздвигнутым».

«На первый взгляд сходство действительно существует, но не основано ли оно на общем источнике, именно на Гораций?»,—с полным основанием спрашивает Кейль.[3] Он обращает внимание также на то, что вся лексика этого радищевского «Слова» близка к державинскому «Памятнику» (т. е. к оде «К Музе», как она первоначально была озаглавлена). Правда, ода Державина появилась впервые в «Приятном и полезном препровождении времени», 1795), — после «Путешествия» Радищева, что исключает возможность генетической связи между ними; тем существеннее однако, общность их словаря: и Радищев, и Державин воспользовались, в прозе и в стихах, одними и теми же словами, чтобы воспроизвести всю сумму представлений и образов указанной оды Горация. Конечно, лексическая близость «Слова о Ломоносове»

[1] R.-D. Keil, стр. 182—184.

[2] Б. Мейлах. Пушкин и его эпоха. М., 1958, стр. 516.

[3] Keil, стр. 178.

Радищева и пушкинского «Памятника» интересна в особенности потому, что Пушкин перечитывал «Путешествие из Петербурга в Москву» в том же 1836 г., когда создан «Памятник», но Кейль[1] напоминает, что именно в статье о Радищеве того же года Пушкин неодобрительно отозвался об этом «Слове» Радищева: «В конце книги своей Радищев поместил слово о Ломоносове. Оно писано слогом надутым и тяжелым» и т. д. Все эти соображения затрудняют Кейля присоединиться к догадке Б. С. Мейлаха, и он предпочитает более осторожное допущение, что чтение радищевского «Слова» обновило в памяти Пушкина оду Горация, но само по себе не оказало сколько нибудь заметного воздействия на стихотворение Пушкина. Р.-Д. Кейль напоминает также, — для полноты картины, — еще один русский перевод этой же оды Горация, принадлежащий В. В. Капнисту и появившийся в его «Лирических стихотворениях» (1806):

Памятник Горация

Я памятник себе воздвигнул долговечный;
Превыше пирамид и крепче меди он.
Ни едкие дожди, ни бурный Аквилон,
Ни цепь несметных лет, ни время быстротечно
Не сокрушат его. — Не весь умру я; нет;
Большая часть меня от строгих парк уйдет;
В потомстве возрасту я славой справедливой... и т. д.

---

[1] Keil, стр. 178. — Недавно Д. Д. Благой в статье «Диалектика литературной преемственности» («Вопросы литературы» 1962, № 2, стр. 112) сделал попытку указать в пушкинском «Памятнике» непосредственную реминисценцию из Ломоносова: «Насколько мне помнится, — пишет Д. Д. Благой, — до сих пор еще не было замечено, что в... стихах о памятнике одну из самых своих заветных мыслей, и ранее звучавших в его поэзии — о свободе и независимости своего творчества, об его высоком бескорыстии, поэт выражает строками, являющимися почти буквальным повторением слов Ломоносова из его поэмы «Петр Великий». Автор поэмы подчеркивает, что он осуществляет свой труд, не рассчитывая на похвалы и не боясь осуждений:

Ни злости не страшусь, ни требую добра...

И вспомним у Пушкина:

Веленью божьему, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно...»

«И это не просто еще одна реминисценция,—заключает Д. Д. Благой. Здесь перед нами глубоко знаменательная перекличка двух русских гениев, в которой громко и слитно звучит единый голос породившего их народа». Оставляя в стороне чисто риторическое значение последнего аргумента, следует признать, что было бы крайней натяжкой усматривать в словах Пушкина «почти буквальное повторение» стихов Ломоносова: вырванные из контекста, отвлеченные от своего конкретного назначения, стихи Ломоносова и Пушкина сходны между собой лишь в своем самом элементарном смысле, для которого можно легко подобрать сотни аналогий не только в русской, но и во всех прочих литературах.

Произведя подробное сличение этого перевода с латинским подлинником, а также с переводом Ломоносова (1748 г.), Кейль пришел к заключению, что капнистовский едва ли мог иметь какое либо значение для Пушкина. Переоценивая «филологическую основательность» Капниста как переводчика, Кейль, однако, отметил его стремление к «руссификации» текста, что могло быть учтено Державиным, шедшим по тому же пути.[1] Страницы, посвященные Кейлем сопоставлению «Памятников» Державина и Пушкина заключают в себе мало нового для советских исследователей, тем болёе, что ему осталась неизвестной большая часть новейшей русской литературы, посвященной этому вопросу,[2] тем не менее, несколько старых наблюдений, на которые обратил внимание Кейль, могли бы быть в настоящее время дополнены и продолжены.

Мы уже упоминали, что старая русская комментаторская традиция возводит пушкинский «Памятник» не только к державинской оде 1795 г., но также к другому подражанию Горацию у Державина, к его «Лебедю» (1804, впервые, напеч. в 1808 г.). Здесь та же мысль о бессмертии поэзии, о громкой славе, которая ожидает поэта у благодарных потомков. «Лебедь» Державина восходит к оде Горация (II, 20),

---

[1] R.-D. Keil, стр. 185—186. А. А. Веселовский в статье «Капнист и Гораций» («Эпизод из знакомства с классической литературой в конце XVIII—нач. XIX в.) — «Известия Отделения русского языка и словесности» 1910, т. XV, кн. 1, стр. 199—232 привел по рукописи Капниста его «Предисловие к переводам и подражаниям Горациевых од», в котором имеется следующее признание: «Не зная латинского языка, должен был я угадывать красоты знаменитого подлинника из чужеземных, большею частью весьма неверных переводов. С величайшим трудом, с неутомимой прилежностью руководствуясь наставлениями и советами знающих латинский язык приятелей моих, принужден был я переводить почти слово в слово оды Горация и потом перелагать оные в стихи» (стр. 211) и т. д. Перевод его оды «К Мельпомене» (III, 30) имеется в двух редакциях, из которых ранняя была найдена среди бумаг Державина и лишь недавно напечатана (см. В. Капнист, Сочинения ред. Д. С. Бабкина, т. II, Л., 1960, стр. 557); однако, она сильнее отклоняется от подлинника, чем позднейшая, цитированная выше.

[2] См., например, кроме уже упомянутых выше: М. М. Покровский, Пушкин и Гораций. «Доклады Академии наук СССР» 1930, стр. 234 и сл.; его же: Пушкин и античность—Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 4—5, М.—Л., 1939, стр. 29—56 (о Пушкине, Горации и Державине—стр. 44—50); И. И. Толстой. Пушкин и античность. «Ученые записки гос. педагогического института им. А. И. Герцена, т. XIV, Л., 1938, стр. 71—85 (о «Памятнике» стр. 83—85); Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля, М., 1957, стр. 113—114; А. В. Западов. Мастерство Державина, М., 1958, стр. 252—255 и др.

но значительно отклоняется от нее.[1] Поэт представляет себя в виде Лебедя, образ которого он примет после смерти, пролетающего над необозримыми российскими просторами, и на него

Покажут перстом и рекут:
Вот тот летит, что строя лиру,
Языком сердца говорил,
И проповедуя мир миру
Себя всех счастьем веселил...

Р.-Д. Кейль мимоходом обронил замечание, что в этом стихотворении Державина «сплавлены» мотивы обоих указанных горациевских од и что аналогичные смешения нередки в западноевропейских подражаниях Горацию в XVIII веке; в доказательство он ссылается на знаменитую оду Клопштока «Сон» (1782) и на оду Экушара-Леберена.[2] О последней, в связи с Пушкиным, писал еще Б. В. Томашевский: «Лебрен написал оду на мотивы «Exegi monumentum» Горация. И в данном случае можно говорить только о столкновении тем, так как, во-первых, ода Лебрена далеко отходит от Горация (и французские критики утверждали, что она превосходит латинский оригинал), а во вторых, на русском языке создалась уже до Пушкина традиция подражаний этой латинской оде».[3] Самый текст этой оды Лебрена, — вероятно известной Пушкину, — Б. В. Томашевский, однако, не привел. В этой оде, действительно много настоящей риторики, но несколько отрывков из нее привести не бесполезно для сопоставления:

Grâce à la Muse que m'inspire,
Il est fini ce monument
Que jamais ne pourront détruire
Le fer ni le flot écumant.
Le ciel même, armé de foudre
Ne saurait le réduire en poudre:
Les siècles l' essaieraient en vain.
Ie brave ces tyrans avides,
Plus hardi que les pyramides
Et plus durable que l' airain.

(Перевод: По милости вдохновляющей меня Музы, он готов, этот памятник, которого никогда не смогут истребить ни железо, не пенящаяся волна. Даже небо, вооруженное молниями, не могло бы обратить его в прах; не смогли бы это сделать и столетия. Он пренебрегает этими алчными тира-

[1] «Произведение это совершенно самостоятельное. Из Горация взяты лишь образ поэта-лебедя и мысль о бессмертии; близко к оде начало стихотворения», — подтверждал недавно А. Л. Пинчук в статье «Гораций в творчестве Г. Р. Державина». — «Ученые записки Томского гос. университета», т. 24 (1955), стр. 85.

[2] R.-D. Keil, стр. 180, 188.

[3] Б. В. Томашевский. Пушкин и Франция, Л., 1960, стр. 327.

нами, более отважный чем пирамиды, и более прочный, чем бронза).

Далее, поэт восклицает, что «весь он не умрет», потому что «слава прокладывает ему светлую тропинку в храм памяти»:

Je ne mourrais point tout entier.
Eh! ne voyez-vous pas la gloire
Que, jusqu'an temple de mémoire
Me fraie un lumineux sentier? и т. д.[1]

Перечень стихотворений, написанных в подражание двум указанным одам Горация (III, 30 и II, 20) — порознь или вместе взятым — чрезвычайно велик во всех западноевропейских литературах; о Ронсаре, Дю Белле, Я. Кохановском речь шла уже выше; из французских, помимо Экушара Лебрена, можно назвать Ж. Делиля (переводом которого пользовался В. Капнист), Ж. Б. Руссо и многих других;[2] из английских — Шекспира, 55-ый сонет которого с его противопоставлением бессмертной поэзии бренности всего материального мира, также обычно возводится к Горацию:[3]

Not marble, nor the gilded monuments
Of princes, shall out—live this powerful rhyme...

(Замшелый мрамор царственных могил
Исчезнет раньше этих веских слов
В которых я твой образ сохраню.
К ним не пристанет пыль и грязь веков.

Пусть опрокинет статуи война,
Мятеж развеет каменщиков труд,
Но врезанные в память письмена
Бегущие столетья не сотрут.

Перевод С. Маршака).

Английская литература XVIII века, так же как немецкая и французская, прочно усвоила мотивы горациевского «Exegi monumentum» и часто откликалась на них в стихах, в критической и публицистской прозе.[4]

Популярными стали обе оды Горация также и в русской литературе к XVIII—нач. XIX в.

---

[1] R.-D. Keil, (стр. 179—180) цитирует три строфы оды Экушара-Лебрена по изданию, где они приведены лишь как «отрывок» (Oeuvres complètes d' Horace... suivies de traductions en vers français et d' imitations par divers poètes français et etrangers, Paris et Lyon, 1834, 2, p. 229); полный текст см. Ponce-Denis Ecouchard-Lebrun, Oeuvres, Paris, 1811, vol. I, p. 415.

[2] Ed. Stemplinger. Das Fortleben der Horazischen Lyrik seit der Renaissance, Lpz. 1906, стр. 371—372.

[3] H. R. Anders. Shakespeare's Books, Berlin, 1904, стр. 32; Ed. Stemplinger, стр. 372.

[4] Caroline Goad. Horace in the English Literature of the eighteenth century, New Haven 1928 (Yale Studies in English, LVIII), стр. 255, 299, 378, 438, 580 (цитаты из латинского текста оды Горация, подражаний ей и упоминаний о ней у Аддисона, Попа, С. Джонсона, М. Прайора и др.).

Написав свое стихотворение «Лебедь», Державин почувствовал своего рода угрызения совести и желание оправдаться перед читателями. Он писал по этому поводу: «Непростительно было бы так самохвальствовать; но как Гораций и прочие древние поэты присвоили себе сие преимущество, то и автор тем пользуется, не думая быть осужденным за то своими соотечественниками, тем паче, что поэзия его — истинная картина натуры».[1] На самом деле, современники его остались не вовсе равнодушными к его гордым, самоуверенным заявлениям, сделанным даже по следам и по образу римского поэта. В «Журнале российской словесности» (1805, май), издававшемся Н. И. Брусиловым, по всей вероятности сам редактор, скрывшийся под инициалом «Б...» поместил эпиграмму, направленную против Державина (он назван здесь Тромпетиным, именем одного из действующих лиц комедии Я. Б. Княжнина — «Чудаки»):

Проходит слава царств, и царства исчезают!
Пальмира гордая, где ты? Увы! Не знают!
И Александров гроб и город разрушен,
В котором сильный царь земли был погребен,
Героев град забыт, забыт и с их делами —
А ты жить в вечности с великими мужами,
Тромпетин! захотел стихами!

Державин не оставил этот выпад без ответа. Он опубликовал в другом журнале — в «Друге просвещения» (1805, № 9, стр. 198) собственную эпиграмму, направленную против своего критика, названнного им Булавкиным.

Ответ Тромпетина к Булавкину

Трубит Тромпетин как в тромпету,
Трубы звук вторит холм и дол.
Но колет как Булавкин в мету,
Кому слышна булавки боль?
Блистали царствы — царств тех нету;
Пиндар в стихах своих живет,
Толпой толпятся мошки к свету,
Но дунет ветр — и мошек нет.[2]

Эта полемика весьма занимательна. Едва ли антагонист Державина подвергал сомнению мысль Горация — о бессмертии поэзии; поводом для эпиграммы явилось скорее то, что сам Державин определял как «самохвальство»; но ссылки на Горация в самооправдании Державина и на Пиндара — в его ответной эпиграмме являлись трудно опровержимыми аргументами. Поэтому ссылка на Горация неоднократно делалась в подобных случаях для самозащиты. Не этими ли

[1] Г. Р. Державин. Сочинения... с объяснительными примечаниями Я. К. Грота, т. IX, стр. 260.

[2] Г. Р. Державин, Сочинения, т. III, стр. 514.

мотивами руководствовался и Пушкин, выбирая для своего «Памятника» латинский эпиграф?

В большой статье Н .Надеждина, написанной по поводу «Опыта перевода Горациевых од» В. Орлова, в которой идет речь о самом Горации и о его русских переводчиках, об авторе «Exegi monumentum» говорилось: «Если он не постиг еще вполне достоинства человеческой своей природы, то по крайней мере умел оценить идеальную высокость своего поэтического служения. Оно возвышало его в собственных глазах его: и мрачная бездна ничтожества, зияющего всюду вокруг него, озлащалась тогда перед ним светлым призраком бессмертия:

Non omnis moriar!

Сей призрак, неуловимый для воображения, настраивал по крайней мере сердце, им уловленное, к сладкой мечтательности. Певец Августа, хладнокровный к нестоящим рукоплесканиям дружеского потворства и наемной лести, восхищался до исступления мыслью, что некогда римские старцы будут вспоминать с удовольствием время, когда они на заре дней своих воспевали, на вековым празднестве, угодную богам песень, сложенную сладкозвучным певцом, Горацием (...) и под виноградными Тибурскими садами любил мысленно представлять неостывший прах свой, орошаемый слезами верной незабывчивой дружбы...»[1]

Эта статья Н. Надеждина дописывалась вскоре после смерти А. Ф. Мерзлякова, умершего 26 июля 1830 г., под свежим впечатлением от этого события (под статьей стоит дата — 12 августа 1830 г., а цензурное разрешение книжки журнала, в которой она напечатана, выдано 21 августа). Надеждин высоко ценил литературную деятельность Мерзлякова, но в особенности восхищался двумя томиками его «Подражаний и переводов из греческих и латинских стихотворцев» (М., 1825—1826), в которых помещены были также и его переводы из Горация. Именно о них Надеждин и говорит в этой статье: «Не менее удачно — и гораздо с большей верностью переложены Мерзляковым те песни Горация, в коих провозглашается торжественное чувство поэтического бессмертия, столь присное певцу Венузийскому! Мерзляков и здесь сходился с Горацием! Не понятый и не оцененный достойно настоящим, он бодро смотрел в будущность и, от избытка веры и улования, смело мог восклицать с ним (...)

Нет! не умру я,
Стиксовой я не умчусь волною!
Уже — быстрейший, чем Дедала дерзкий сын
Стремлюсь, и вижу скалы Босфора вокруг,

---

[1] Н. Надеждин. Опыт перевода Горациевых од. «Московский вестник» 1830, ч. IV, стр. 270—271.

И Сирт, и Рифей, — я дально —
Звучный орган, оглашаю мир весь!
Мой глас услышит Колх и Дакиец, — страх
Таящий в сердце Марса к златым орлам;
Услышат Гелоны и умный
Ибер, и чада обильной Роны!

Приведя эти цитаты из перевода Мерзлякова той самой оды Горация (II, 20),[1] которой вдохновлялся Державин в своем «Лебеде», — Надеждин восклицал патетически о только что скончавшемся Мерзлякове, поэте и переводчике: «Предчувствия и предречения твои были не тщетны, муж знаменитый! Босфор и Рифей будут оглашаться тобою, доколе стоять будет мир русский: и твой надгробный камень смело может носить сие, общее тебе и великому римскому поэту изречение:

К чему печальный сей похорон обряд,
Уйми их, спокой их! Что нужды
Стенанья, вопли, гроба пустого вслед?..
духу в честях могилы?»[2]

Приведенные цитаты наглядно свидетельствуют о том, насколько жива была еще в 30-е годы в русской литературе старая традиция разработки применительно к местным условиям мотивов двух горациевых од — о бессмертии поэзии, о заслугах поэта перед будущими поколениями, о надежде, какую поэт возлагает на своих грядущих ценителей. Ссылка на Горация не только оправдывала такую возможность конкретным примером немеркнущей поэтической славы римского поэта, но и служила в то же время своего рода маскировкой личных честолюбивых мечтаний или даже поводов к мыслям подобного рода. В истории подражаний этим одам Горация в любой национальной литературе, в том числе в русской, важнее были, однако, не общие черты, связывающие с латинским источником длинные ряды стихотворений, им вызванных, а именно эти личные поводы, способствовавшие их возникновению, то новое, сугубо личное содержание, которое облекалось в традиционную форму, прикрывало цитатами, старыми образами и оборотами речи сокровенный смысл каждой новой попытки обновления древней поэтической темы. Слабость попыток зарубежных исследователей (А. Грегуара, Р. Д. Кейля) заключалась именно в том, что они пытались объяснить «Памятник» Пушкина главным образом из Горация или горацианской традиции в предпушкинской русской поэзии и уделили слишком мало внимания личным поводам, способствовавшим созданию этого стихотворения Пушкина.

[1] Цитаты заимствованы Надеждиным из книги А. Ф. Мерзлякова «Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев» ч. II, М., 1826, стр. 145—146, в которой эта ода Горация озаглавлена: «Чувство бессмертия или восторг поэта».

[2] «Московский вестник» 1830, т. IV, стр. 292.

В. Ледницкий чрезмерно сузил их, сведя к стремлению Пушкина ретроспективно обозреть в «Памятнике» историю своих взаимоотношений с Александром I, возникшему якобы по случаю открытия Александровской колонны, Р. Д. Кейль стремился примирить неправдоподобные толкования М. Гершензона с вовсе упущенными из виду источниками «Памятника» — одой Горация и русскими ей подражаниями. Никому из этих исследователей не были, однако, в достаточной мере известны те страницы биографии Пушкина, которые относятся к 1836 году; между тем, как раз эти страницы, относящиеся ко времени создания «Памятника», лишь в самое недавнее время пополнились новыми, весьма важными данными.

7.

Находка писем семьи Карамзиных, в которых столь часто говорится о Пушкине, обогатила нас новыми достоверными свидетельствами о том тяжелом душевном состоянии, в котором находился поэт в осенние месяцы 1836 года. Мысль о скорой смерти стала навязчивой, постоянно возвращавшейся в сознание поэта; она еще более усугублялась оттого, что и в салонных разговорах и в печати постоянно шли толки о том, что он умер как поэт. В письме С. Н. Карамзиной и ее брату Андрею из Царского села, датированном 24 июля (5 августа) 1836 г., есть такие строки: «Вышел второй номер «Современника». Говорят, что он бледен и в нем нет ни одной строчки Пушкина (которого разбранил ужасно и справедливо Булгарин, как светило в полдень угасшее. Тяжело сознавать, что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может ничем более уязвить его, как говоря правду!)».[1] Для нас весьма существенно, что в этом, написанном по французски письме, вся фраза от слов: «которого разбранил ужасно» и до «светило в полдень угасшее» написана по русски: она походит на подлинную цитату. Между тем, комментаторы этого письма не смогли указать такой статьи Булгарина, в которой нашлась бы именно эта фраза о Пушкине; вместо того они процитировали то место из булгаринской «Северной пчелы» от 18 июля 1836 г. (№ 162), где среди разнообразных упреков по адресу Пушкина-журналиста, в частности, говорится, что поэт «мечтания и вдохновения свои погасил срочными статьями и журнальной полемикой» и отметили, что слова «светило, в полдень угнасшее» «не являются цитатой из какой-либо статьи Булгарина и

[1] Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов, М.—Л., 1960, стр. 81, французский текст — стр. 250—251.

его подручных, но очень верно выражают отношение Северной Пчелы» к Пушкину в 30-е годы».[1]

Указанное письмо С. Н. Карамзиной представляет для нас столь значительный интерес, что к цитированным словам необходимо присмотреться более пристально. Возможно, действительно, что на страницах «Северной пчелы» фразы о погасшем светиле не встречаются, и что С. Н. Карамзина сочла за булгаринскую, направленную против Пушкина статью П. М-ского (т. е. П. Медведского), напечатанную в 162 номере «Северной пчелы», в которой говорится, что Пушкин журнальной полемикой «погасил» свои «вдохновения». Нельзя, однако, не обратить внимание на то, что это метафорическое выражение — являвшееся своего рода истертым поэтическим клише — неоднократно применялось к Пушкину, исходя не только из булгаринской журнальной клики, но даже из среды его искренних друзей и почитателей. Упреки Пушкину за оскудение его творческого дара стали в это время обычными и жестокими. Не кто иной, как Белинский, в восьмой статье своих «Литературных мечтаний», говоря о тяжелом кризисе, в котором, по его мнению, находился поэт, провозглашал: «Пушкин царствовал десять лет: «Борис Годунов» был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет, этот вопрос, это гамлетовское быть или не быть скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его рассказам, по его поэме «Анжело» и по другим произведениям, обретающимся в «Новоселье», и «Библиотеке для чтения», мы должны оплакивать горькую, невозвратимую потерю»... И словно желая нейтрализовать этот тяжкий, беспощадный приговор, Белинский писал далее: «...Однако же не будем слишком поспешны и опрометчивы в наших суждениях, предоставим времени решить этот запутанный вопрос... Пусть скажут, что это пристрастие, идолопоклонство, детство, глупость, но я лучше хо-

[1] Там же, стр. 352.

чу верить тому, что Пушкин мистифицирует «Библиотеку для чтения», чем тому, что его талант погас».[1]

Очевидно, эта метафора была в ходу. Н. В. Станкевич, подобно Белинскому, не в состоянии был понять «сказки» Пушкина и писал Я. М. Неверову 30 октября 1834 г. по поводу «Конька-горбунка» Ершова: «Пушкин избрал этот ложный род, когда начал угасать поэтический огонь в душе его».[2] По своей форме это всего лишь реминисценция из «Воспоминания» К. Н. Батюшкова:

Я чувствую, мой дар в поэзии погас
И муза пламенник небесный потушила,

может быть осложненная стихом самого Пушкина «Погасло дневное светило» (1820); не забудем, однако, что эта метафора чаще употреблялась даже в смысле физической смерти, а не оскудевающего поэтического вдохновения. О рано умершем П. И. Макарове М. Дмитриев писал в его биографии: «Светило дней его померкло, не достигнув полудня».[3] Но, в сущности, слишком ли далеко отстояли друг от друга оба этих понятия — поэтической смерти и физического уничтожения? В сознании поэта, сохраняющего веру в свой дар, они были равнозначущи и разумеется обостряли до предела мечту о всенародном посмертном признании. Естественно предположить такой ход мыслей и у Пушкина; поэтому свидетельство о «Памятнике», извлекаемое из тех же писем Карамзиных, которое мы уже приводили в другой связи, — письмо Александра Карамина от 31 августа 1836 г. — через месяц после цитированного письма его сестры: «Пушкин показывал ему (Н. Муханову) только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней».[4]

Об этих заслугах взволнованно и тревожно думали также искренне расположенные к Пушкину люди, наблюдая за все

---

[1] Белинский. Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, т. I, М., 1953, стр. 73. Мы не можем в настоящей сотатье касаться причин этого всегда вызвавшего удивление, но далеко не случайного отзыва Белинского: нас интересует в данном случае, не столько ход рассуждения Белинского, сколько его формулировки, бывшие для того времени очень типичными. В обширной литературе о Белинском и Пушкине можно найти подробный к ним комментарий. Очень справедливо сказал об этих словах Белинского И. Сергиевский в его статье «Пушкин и Белинский»: «Это не было ни пристрастием, ни идолопоклонством. Это была обоснованная вера в творческое могущество величайшего гения русской национальной культуры, — вера, изнутри подтачивавшая все горькие и жестокие выводы, к которым приходил Белинский, не умея найти «ключ» к пушкинским созданиям последних лет его жизни» (И. Сергиевский, Избранные работы. Статьи о русской литературе, М., 1961, стр. 305).

[2] Н. В. Станкевич. Переписка, М., 1914, стр. 296.

[3] Сочинения и переводы Петра Макарова, т. I, ч. I, изд. 2-ое, М., 1817, стр. VII.

[4] Пушкин в письмах Карамзиных, стр. 359.

усиливавшимися к 1836 году нападками на Пушкина в печати. Так, В. Ф. Одоевский, прочтя указанную выше статью П. Медведского в «Северной пчеле» от 18 июля 1836 г., пришел в сильное негодование; она представилась ему «сокращением всего того, что «Северная пчела», «Сын отечества» и «Библиотека для чтения» под разными предлогами, с некоторого времени стараются втолковать своим читателям». Он решил не оставить ее без ответа, и написал яркую, смелую, красноречивую статью, озаглавив ее: «О нападениях петербургских журналов на Пушкина». Однако, напечатать ее не удалось, несмотря на все его усилия. В бумагах В. Ф. Одоевского она сохранилась в нескольких авторских вариантах. На полях одного из них сделана запись рукою самого В. Ф. Одоевского: «Писано незадолго до кончины Пушкина — ни один из журналистов не решился напечатать, боясь Булгарина и Сенковского». Из других бумаг явствует, что Одоевский обращался с просьбами опубликовать ее и в «Московский наблюдатель» и в «Литературные прибавления к Русскому инвалиду», но тщетно; в печати она появилась лишь в 1864 году.[1]

Разоблачая истинные мотивы нападок на Пушкина продажной клики журналистов, этих «литературных диктаторов» и «негоциантов», Одоевский разъяснял, на какой неизмеримой высоте стоит Пушкин, «эта радость России, наша народная слава, Пушкин, которого стихи знает наизусть и поет вся Россия, которого всякое произведение есть важное событие в нашей литературе, которого читает ребенок на коленях матери и ученый в кабинете». Отвечая врагам поэта, лицемерно удивлявшимся тому, что Пушкин сделался журналистом, Одоевский красноречиво доказывал, что никто другой не мог бы быть столь полноправным и авторитетным руководителем общественного мнения: «Если кто нибудь в нашей литературе имеет право на голос, то это без сомнения Пушкин. Все дает ему это право, и его поэтический талант, и проницательность его взгляда, и его начитанность, далеко превышающая лексиконные познания большей части из наших журналистов, ибо Пушкин не останавливался на своем пути, господа, как то случается с нашими литераторами; он, как Гете и Шиллер, умеет читать, трудиться и думать; он — поэт в стихах и бенедиктинец в своем кабинете; ни одно из таинств науки им не забыто, и счастливец! он умеет освещать обширную массу познаний своим поэтическим ясновидением. — Ему ли не иметь голоса в нашей литературе!».[2] Одоевский не закончил еще свои хлопоты по пристройству этой своей статьи в печать, когда состоялась

[1] П. Н. Сакулин. В. Ф. Одоевский, т. 1, ч. 2, М., 1913, стр. 325—326.

[2] Там же, стр. 327.

роковая дуэль и Пушкин был мертв. Горе Одоевского было безгранично. Мы знаем сейчас, что именно ему принадлежат лирические строки, напечатанные в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» (1837, № 5, стр. 48): «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща»...[1] Хорошо известно, что это первое краткое известие о смерти поэта вызвало цензурную бурю и грубые окрики в правительственных кругах — всегда казавшиеся последующим поколениям бессмысленными по своей жестокости и обскурантизму; отметим, однако, что в основе этих строк Одоевского лежит та же метафора о «светиле, в полдень угасшем», пущенная в оборот врагами поэта, лицемерно скрывавшими резкое его осуждение, которой Одоевский воспользовался для того, чтобы придать ей обратный, трагически-утверждающий смысл. Физическая смерть поэта патетически оправдывала и стертую поэтическую формулу, утверждала в сознании Одоевского значение этого мнимо померкшего светила как «солнца русской поэзии», закатившегося по непреложному закону природы, но бессмертного. Тем же поэтическим уподоблением тотчас же воспользовался и Кольцов в своем письме к А. А. Краевскому, этом «стихотворении в прозе» о смерти Пушкина: «Прострелено солнце... Лицо помрачнелось, безобразною глыбой упало на землю»...

В свете тех данных, которые дают о Пушкине в осенние месяцы 1836 года недавно опубликованные письма семьи Карамзиных, история возникновения его «Памятника» представляется совершенно иной, чем она изображалась доныне, освещаясь как бы изнутри, из тех сугубо личных мотивов, которые привели Пушкина к мысли ясно и громко возгласить, что он думает о себе, о своем творчестве и той справедливой оценке, которую оно получит у потомков. Вне анализа этих мотивов, случайно открывшихся нам из связки старых семейных писем, все дальнейшие толкования «Памятника», как бы ни были остроумны догадки о происхождении его отдельных образов и стихотворных строк, являются бесполезными и ошибочными. Но мы еще достаточно далеки от того, чтобы считать, что его «творческая история» раскрыта до конца и полностью. Зарубежные исследователи «Памятника», в том числе и последний из них Б.-Д. Кейль, не могли воспользоваться приведенными выше данными в своих построениях, и это лишило многие их догадки исторической достоверности и правдоподобия. Тем не менее, Р. Д. Кейль высказал несколько предположений, на которые следует обратить внимание: таково, например, его наблюдение,

---

[1] Р. Б. Заборова. Неизданные статьи В. Ф. Одоевского о Пушкине — в сб. «Пушкин. Исследования и материалы», т. I. Л., 1956. стр. 320—321.

что Пушкин, как и Гораций, исходил из представления о «надгробных» памятниках; попытки Кейля связать «Памятник» с поэтическими набросками Пушкина 1836 г., смысл которых не был еще разгадан, в особенности с отрывком: «Prologue. Я посетил твою могилу, но там тесно»[1] и т. д. нуждаются в особом и тщательном разборе, который увел бы нас далеко от нашей задачи. Я предполагаю вернуться к этой теме в особой работе.

[1] Пушкин. Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, т. III, I (1948), стр. 477.

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

ГОРЬКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА им. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО

СЕРИЯ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ

Выпуск 57

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Горький
1962